

**ИЛ**

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Яшар Кемаль

# Легенда Горы



41

**Yaşar Kemal**

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

**Яшар Кемаль**

# **Легенда Горы**

**Повесть и рассказы**

*Перевод с турецкого А. Ибрагимова*

*Составление З. Китабовой  
Предисловие Т. Меликова*

Москва  
«Известия»  
1982

**И /Тур/  
К35**

*Главный редактор Н. Т. Федоренко*

*В оформлении книги использован рисунок  
турецкого художника Абидина Дино*

**К35**      **Кемаль Я.**  
Легенда Горы / Пер. с турецк. А. Ибра-  
гимова. Сост. З. Китабовой. Предисл.  
Т. Меликова.— М.: Известия, 1982. 128 с.  
(Библиотека журнала «Иностранная лите-  
ратура»)

В настоящий сборник произведений известного турецкого писателя Яшара Кемалья включена повесть «Легенда Горы», написанная по фольклорным мотивам. В истории любви гордого и смелого горца Ахмеда и дочери паши Гульбахар автор иносказательно затрагивает важнейшие проблемы, волнующие сегодня его родину. Несколько рассказов представляют разные стороны таланта Я. Кемалья.

**К  $\frac{4703000000-046}{074(02)-82}$  729-82**

**ББК 84.5Ту  
И /Тур/**

© Составление, предисловие издательство  
«Известия», журнал «Иностранная ли-  
тература», 1982.

## Предисловие

Немногим писателям выпадает счастливый жребий так глубоко врасти корнями в родной народ, в родную землю, что соотечественники начинают считать их выразителями своей души, символом честности, бескорыстия, благородства. К таким писателям в полной мере можно отнести Яшара Кемалья. Он родился в глухой турецкой деревушке на юге страны, там прошло его детство, там он еще мальчиком познал тяжелый подневольный труд: чтобы заработать себе на пропитание, оставил школу и ушел батрачить. С тех пор он перебрал около сорока профессий — от разнорабочего и писаря до сапожника и служащего строительной компании. Судьба послала ему бесчисленные испытания, но они только закалили его, сделали зорким глаз, чутким — сердце, дали ему возможность хорошо узнать трудовой народ Турции, навсегда связать себя с ним.

Еще в юности Яшар Кемаль стал собирать песни, легенды, сказки, дастаны, уже тогда, под сильным влиянием народного творчества, начал вырабатываться его необыкновенно богатый, выразительный, емкий и музыкальный язык.

В 1946 году Яшар Кемаль приехал в Стамбул — культурную столицу Турции, где занялся журналистикой, публиковал в газетах свои очерки, зарисовки из сельской жизни. В этих публицистических произведениях достаточно ярко проявилось его писательское дарование.

Литературный успех принес ему роман «Тоций Мемед» (1955), ставший заметным явлением в турецкой литературе. Яшар Кемаль по-новому раскрыл образ благородного разбойника, в новом ракурсе изобразил борьбу за справедливую жизнь, которую упорно и по-своему ведет каждое поколение крестьянства. Роман был переведен более чем на тридцать языков.

Однако «Тоций Мемед» знаменовал собой лишь начало становления Яшара Кемалья как писателя. Еще долгое время он упорно искал свои темы, своих героев, свою манеру письма. За трилогией «Опорный столб» (1960), «Земля — железо, небо — медь» (1963), «Бессмертник» (1969), широко рисующей

картины сельской жизни, мытарства бедняков, вынужденных за гроши собирать хлопок в тщетной надежде расплатиться с долгами, которые тяжким грузом лежат на их плечах всю жизнь, последовала монументальная эпопея «Преступление на Кузнечном рынке».

Во всех этих произведениях Яшар Кемаль воссоздает масштабные картины времени, ставит главнейшие проблемы национальной истории, размышляет о коренных вопросах бытия. Такая масштабность проблематики, разумеется, меняла характер самого романа-эпопеи, придавала ему новые черты.

Произведения Яшара Кемала всегда встречались с большим интересом. Причину этого понять нетрудно, ибо в них читатель находит захватывающие драматические коллизии, жизненно важные социальные и морально-этические проблемы, волнующие турецкий народ. Образы Яшара Кемала вырастают в убедительнейшие обобщения.

Смелость и правдивость писателя дает кое-кому повод упрекать его в намеренном сгущении красок, в пристрастии к изображению «теневых сторон жизни». Однако глубокое изучение всего его творчества, несомненно, позволяет утверждать вслед за известным турецким критиком Фетхи Наджи, что во всех произведениях Яшара Кемала, какой бы мрачной ни рисовалась действительность, верх одерживает светлое, оптимистическое начало.

Повествовательная манера Яшара Кемала философски осмыслена и поэтически одухотворена. Притчи, песни, метафорика, реминисценции из народных дастанов придают его произведениям своеобразное песенное звучание, поэтичность в высоком смысле этого слова. А в «Легенде Бинбога» и «Трех анатолийских легендах» автор прямо обращается к народным преданиям, переосмысляя их в свете современной философской и нравственной проблематики. При этом особый упор делается на связь с прошлым, в котором Яшар Кемаль видит средство постижения настоящего. То же можно сказать и о небольшой повести «Легенда Горы», построенной в форме народного сказания с широким привлечением разнообразных фольклорных элементов.

Роман-сказ достаточно популярен в современной турецкой литературе. Объясняется это не только стремлением создать на фольклорной основе подлинно национальные, глубоко самобытные произведения, близкие и понятные самому широкому кругу читателей, не только желанием обогатить литературный язык, окунув его в живую воду фольклора, — в сложных условиях современной политической жизни Турции подобный жанр позволял писателям с достаточной откровенностью высказать свои заветные мысли и суждения. Любовь горца Ахмеда и дочери паши Гюльбахар, противопоставленная чванливости и жестокости османского вельможи Махмудхана, являет нам не только высокое человеческое чувство, способное преодолеть самые, казалось бы, непреодолимые препятствия, но и могущественную силу, которая может объединить людей в борьбе против несправедливости и тирании. Именно в этом главный пафос повести, пожалуй, единственного в своем роде поэтического творения Яшара Кемалья.

Яшар Кемаль — по преимуществу романист. Чтение его обычно довольно объемистых произведений создает впечатление, что для взлета ему требуется большой разбег. Но это только первое впечатление. По включенным в этот небольшой сборник рассказам «Чакыр», «Белые брюки», «Настоящие саркисовские» можно судить о таких характерных особенностях писательского дарования Яшара Кемалья, как превосходное знание сельского быта и психологии крестьян, тонкий чеховский юмор, глубокая симпатия к слабым и беззащитным беднякам, которые так легко попадают в лапы корыстолюбцев.

К сожалению, до сих пор наше знакомство с творчеством прославленного турецкого писателя ограничивалось ранними романами, где его талант не успел еще развернуться во всей своей полноте и самобытности. Эта книга, можно надеяться, в какой-то мере заполнит этот пробел.

*Т. Меликов*

# Легенда Горы

Повесть

Приткнулось на склоне Агрыдага, чуть пониже вершины, озерко — Кюп-гёль называется. Невелико собой, не больше тока молотильного, зато глубокое, что колодец бездонный. Со всех сторон обступают его багряные скалы с острыми, поблескивающими, как нож, гранями. От этих каменных глыб тянется к озерку сначала широкая, а потом поуже полоса мягкой, медного цвета земли, иссеченной многочисленными тропками, разбросанными кой-где зелеными луговинками. Вода в этом озере — синяя-синяя. Такой густой, такой бархатисто-ласковой синевы, хоть весь свет обыщи, нигде больше не увидишь.

Так выглядит Кюп-гёль ранней весной, когда от снега на его берегах остается лишь тонкая кайма. Минует день-другой — и склоны Горы сплошь захлестнут волны зелени, а берега усыплют мелкие цветы: синие, желтые, алые, лиловые. Даже издали они бросаются в глаза своей колкой яркостью, а их резкий аромат, сливаясь с ароматом воды и земли, дурманит голову.

Каждый год в эту пору собираются здесь чобаны — парни все как на подбор статные и ладные, с печальными карими глазами и длинными тонкими пальцами. Они расстилают свои бурки под багряными скалами, на медноцветной земле, земле древней весны, и усаживаются кругом. В предутренней тьме, когда небо густо засеяно зернами звезд, они достают из-за кушаков свои рожки — кавалы — и начинают играть мелодию «Гнев Горы».

С самого утра льется протяжная музыка. А вечером прилетает крохотная, стрельчатокрылая, похожая на ласточку, белая, точно снег, птица. В стремительном полете выплетает она белые узоры на синей глади. Но вот село солнце, чобаны

перестали играть. В тот самый миг, когда они убирают свои кавалы за кушаки, белая, точно снег, птица молнией устремляется вниз, окунает одно крыло в озерную синь — и тотчас взмывает. И так трижды. Затем чобаны встают и по одному, по двое молча расходятся. Их тени бесследно растворяются в сумерках.

С самого вечера стоял белый конь у дверей Ахмедова дома. Переступал ногами, раздувая ноздри, тянул морду к старым, растрескавшимся доскам — будто принюхивался. Раньше всех заметил его седобородый Софи. Поразился старик. Седло на коне черкесское, изукрашенное черным серебром, с серебряными стременами. Сбруя — просто чудо. Поводья шиты серебром, лука отделана золотом, с перламутровой инкрустацией. Чепрак — длинный, до самого крупа, на нем — древний померанцево-желтый знак солнца на фоне зеленого древа жизни. Вышивка не только сверху, но и по бокам. Софи напрягся, пытаясь вспомнить, где видел этот знак. Ясно только, что это знак древнего рода, но какого именно — вот вопрос.

Молча, с изумлением и страхом, смотрел Софи на коня. Что за высокий гость пожаловал к Ахмеду? Снова и снова пытался он определить, какому роду, какому бею или паше принадлежит знак солнца. Недоброе предчувствие холодило его душу. «Не миновать беды», — думал он.

В их краях не было ни одного человека, достаточно богатого, чтобы владеть подобным скакуном, да еще столь роскошно убранным. И Софи хорошо знал эмблемы всех местных родов.

Была весна. Багровели обнажившиеся из-под снега верхушки скал, желтели первые цветы морозника. Высоко в небе ширяли крыльями журавли — они летели станицей к озеру Ван.

Ахмед, ничего не подозревая, играл в своем доме на кавале. И как играл! Это искусство унаследовал он от деда Султана-ага и отца Ресула. По всей Горе не было других таких кавалджы\*, как эти трое. И не только по всей Горе, но, может статься, и по всему белу свету. А уж если так говорит Софи, то ему мож-

\* Музыкант, играющий на рожке — кавале.

но верить, он ведь и сам знаменитый кавалджи. Слава о нем идет по всему востоку: и по Кавказу, и по Ирану-Турану.

Еще ближе подошел Софи, еще пристальнее всмотрелся. Конь стоит наострив уши. Внимательно слушает. Мелодия, которую выводит Ахмед, хорошо известная, старинная. Рассказывается в ней о неукротимом гневе Горы. Так и называется — «Гнев Горы». Этой мелодии сам Софи выучил немало пастухов. Но как-то уж так вышло, что он давно не играл и не слышал ее. Подумать только, с какой силой маленький рожок передает неистовый гнев каменной громадины! Никогда не перестанет Софи дивиться этому чуду чудному. Человеческий сын дует в рожок, а перед слушателями во всю свою исполинскую высоту встает объятая яростью Гора. Все доступно человеческому разумению: полет орла и ползание муравья, движение солнца и луны, свет и мрак, жизнь и смерть. Одного только не может постичь сын человеческий — самого себя.

Восстала Гора — и пошла. С грохотом рушатся снежные лавины. Как набухшие почки, лопаются звезды. Бурным ливнем низвергается лунный свет. А Гора идет, обуянная жаждой отмщенья. Тяжко дышит она, высоко, точно у сказочного великана, вздымается ее грудь. Софи даже слышит ее дыхание — раскаты глубинного гула.

Ахмед продолжает играть — разгорается гнев Горы, все сильнее становится подземный гул. Обычно в такие мгновения Софи прикладывал ухо к земле, но сейчас он слушал стоя. Раскачивается, содрогается Гора — того и гляди, обрушится на мир всей своей безмерной тяжестью. И вдруг — полное безмолвие. Пустота. Покинула Гора этот мир. Унесла с собой своих птиц и волков, звезды, луну и солнце, ветер, дождь и снег, травы и цветы. Унесла с собой долины, где бродят стада джейранов с насурьмленными глазами. Только безмолвие, только пустоту оставила.

Но вот мир как бы заново открылся глазам Софи. Со всеми своими звездами, цветами, ароматами, со светлыми, в серебристых вспышках проплывающих форелей, реками. Преобразился и конь. Ожило, засверкало померанцево-желтое солнце на войлоке. Зазеленело, расцвело древо жизни.

Только после того, как оборвался голос кавала, а солнце показало красный язык из-за вершины Горы, опаматовался, наконец, старик.

Посмотрел он на дверь, на коня. И тот, задрав морду, скосил на него большие, полные тоски глаза. Еще сильнее кольнул страх в самое сердце Софи.

— Ахмед, Ахмед! — закричал старик.

Узнал его голос Ахмед, сразу распахнул дверь.

— Добро пожаловать, дядюшка.

Заметил коня, опешил. Вопросительно глянул на Софи.

— У тебя в доме высокий гость? — молвил старик. — Да принесет он тебе радость и благополучие.

— У меня нет никаких гостей, — ответил Ахмед.

Оба они поглядели на красавца коня. Тот обежал вокруг дома и вернулся на прежнее место. Был он на диво хорош и мастью и статью, длинный, поджарый, с высоко поднятыми ушами. Снова вскинул голову конь — будто заржать хотел, но так и не заржал.

Ахмедов дом стоял у подножья скалы. Стены сложены из красного камня. Дверь широкая. Окно всего одно.

Призадумался Софи. И Ахмед призадумался.

— Этот конь послан тебе самой судьбой, — говорит старик.

— Подошел к моей двери, не уходит, стало быть, так оно и есть, — отвечает Ахмед. — Хотелось бы только знать, чей он.

— На чепраке у него знак, — продолжает Софи, — где-то я его видел, а вот где — не могу припомнить. Сдается мне, что это эмблема какого-то могущественного рода. Тогда — беда. Но что бы там ни было, отныне конь твой. Это тебе дар господень.

— Дар господень, — тихо повторяет Ахмед, а сам думает, что принесет ему этот дар — радость ли, горе.

Тень, павшая на его лицо, не ускользнула от Софи.

— Что бы там ни было, отныне конь — твой. Жаль только, что я никак не могу вспомнить, чья это эмблема. Знаю, что древняя, а вот чья? — раздумчиво произнес он.

Обоим было ясно, что владелец коня — человек родовитый и богатый.

— Что тут долго размышлять?— снова заговорил Софи.— Отведи коня вниз, на дорогу. Вернется — отведи опять. И так трижды. А уж потом, кто бы ни был его хозяин — бей, паша ли, османский падишах, иранский шах ли, Кёроглу ли,— никому его не отдавай. Жизнь отдай, а коня не отдавай. Нужно будет — мы все за тебя стеной встанем.

Вот уже и новый день народился. Засверкали, заиграли в золотом шитье облака. Заклубился мерцающий туман над снегами. Ахмед схватил коня за повод, вспрыгнул в седло и съехал на дорогу. Только вернулся пешком — глядь, а конь уже стоит рядом с Софи. И так трижды.

— Что будет, то будет, дядюшка. От судьбы не уйдешь,— развел он руками.

Рано ли, поздно хватится хозяин сбежавшего коня, начнет поиски. Но Ахмед не отдаст ему дар господень. Жизнь отдаст — коня не отдаст. Таков непреложный горский закон.

Ахмед хорошо знал, что ему угрожает, но отвел коня на конюшню. Такого красавца он сроду не видывал. Радовался, конечно, но тревоги не мог избыть.

— Если владелец — какой-нибудь наглый выскочка, не уважающий наших обычаев, быть беде,— сказал Софи, радостно предвкушая возможную схватку.— Гора ни перед кем не склонит головы. Уж если она прогневается — против всего мира пойдет, но от своего не отступится.

— Не отступится,— эхом откликнулся Ахмед.

Слух о неожиданной находке облетел всю деревню. Скопом повалил народ. Сперва только свои, деревенские, а потом и со всей Горы. До самого Ирана-Турана докатилась молва о коне. Только и разговоров было что о птице удачи, которая села на голову Ахмеда. И никто не знал, чем кончится это дело, добром ли, худом.

Услышали о том, как повезло Ахмеду, и курдские бей с равнины. Из Каракилисе, Гихандина, Игдыра потянулись они полюбоваться сокровищем Ахмедовым — и все завистью исходят.

Долгое время о прежнем владельце не было ни слуху, ни духу.

Вскочит Ахмед на коня и вместе с друзьями-товарищами мчится в набег на землю иранскую. Захватит богатую добычу,

овец, лошадей — и скаком обратно в свою горную деревушку.

И все время в тревоге. Вот-вот объявится хозяин коня, какой-нибудь спесивый бей с кроваво-красными глазами. Такой умрет — от своего не откажется. А может, он трус, кто знает...

Миновало полгода. Совсем уж было успокоился Ахмед, развеялась его тревога. Да и радость поостыла — сколько можно радоваться одному и тому же?

Как-то утром, когда багровое солнце выглянуло из-за Горы, является к Ахмеду Софи. Тяжело опирается на посох, длинная белая борода подрагивает.

— Слышал уже?— спрашивает.

— Слышал,— отвечает Ахмед.

— Разыскивает коня сам безыдский паша, Махмуд-хан.

— Слышал.

— Тому, кто приведет коня, сулит он пять лошадей и пятьдесят золотых.

— Знаю.

— А если тот, к кому попал конь, не захочет его вернуть, то паша грозитя отсечь ему голову.

— Что поделаешь? На все воля судьбы.

— Выставит он против нас целое войско.

— Что поделаешь? На все воля судьбы.

— Махмуд-хан известен своей жестокостью.

— На все воля судьбы.

— Человек он могущественный, противостоять ему нелегко.

— Но ведь конь — дар господень.

— Махмуд-хан нашего господа не признаёт. И его дар не признаёт. Он заделался рьяным османцем.

— Не могу же я отдать дар господень.

Не прошло и месяца — прискакали посланцы от паши. Входят в Ахмедов дом и говорят:

— Махмуд-хан хочет, чтобы ты вернул его коня. Бери что твоей душе угодно: деньги, товары дорогие, лошадей самых лучших, только верни. Слышал он, что конь остановился перед твоей дверью, потому и просит по-хорошему. Что хочешь возьми себе взамен.

— Неужто ваш хан не знает, что господень дар не возвращают? Жизнь отдают, коня не отдают,— отвечает Ахмед.

— Знать-то он знает, но все равно стоит на своем. Ведь этот конь и ему дар. От зиланского бея, которого наш паша любит как родного брата.

А Ахмед все одно ладит:

— Ничего не пожалею, если надо, жизнь отдам, а дар господень возвратить не могу.

Видят посланцы, его не уломать, грозить стали:

— Хозяин велел тебе передать, что он ни перед чем не остановится. «Хоть и высоко,— говорит,— его логово, хоть и созовет он всяких бродяг на подмогу, все равно доберусь до него, в порошок сотру!» А свое слово паша держит.

Молчит Ахмед, будто в рот воды набрал.

Так ни с чем люди паши и убрались восвояси. Здорово, конечно, озлились, да что толку-то?

Съехались со всей округи курдские бей с кроваво-красными глазами. И все возмущаются:

— Виданное ли это дело — требовать дар господень. Хоть ты знатный бей, хоть паша — должен иметь понимание.

— Все верно,— только и уронил Ахмед. А больше — ни полслова.

Не ожидал паша, что его просьбе отказ будет, взбеленился — просто ужас. Конечно, и он хорошо знал обычаи Горы. Остановись у ворот безыдской крепости конь самого падишаха османского или шаха иранского, ни за что не вернул бы! Но чтобы простой горец посмел противиться его воле — такое в голове не укладывалось.

Созвал паша своих советников и командиров аскеров. Долго судили-рядили они, но так и не пришли к одному решению. Добром коня, ясное дело, не отдадут, а идти походом — со всей Горой биться. Неизвестно еще, чем дело кончится.

Послал тогда паша за своими друзьями — беями курдскими, послушными каждому его слову. Отовсюду понаехали они: из Вана, Патноса, Муша, Битлиса, с Сюпхан-дага. Закатил для них Махмуд-хан пиршество пышное. С небывалым гостеприим-

ством чествовал. А потом пригласил на совет, рассказал о своей заботе.

— Какой-то горский разбойник, юнец безусый, похитил моего коня,— жаловался он.— Моей чести нанесен урон.

Никто и упомянуть не посмел старый обычай, не сказал, что пустое дело затеял паша: даже если всем горцам отрубить головы, коня все равно не вернуть.

Общее молчание окончательно распалило пашу.

— Помогите мне вернуть коня,— потребовал он.

Пришлось курдским беям снарядить гонца. Ахмед только зло посмеялся над ним. И велел передать беям:

— Конь этот — дар господень. Три раза отводил я его на дорогу, а он — все обратно. Так что теперь он принадлежит мне. И не только мне одному, но и всей Горе. И хотел бы, да не могу отдать. Пристало ли беям с такой просьбой ко мне обращаться? Позабыли они, видно, о своем достоинстве.

Курдские беи даже не обиделись, выслушав эти слова. Сказали только:

— Правы горцы. Да только правота им не поможет. Паша все сокрушит, а своего добьется.

Видя, что все домогательства впустую, паша собрал своих аскеров и вместе с самыми верными беями выступил в поход.

А время было уже осеннее. Алым, лиловым огнем пылают скалы на склонах Горы. Все выше и выше взбирается отряд паши. Только камешки летят из-под копыт лошадей.

Наконец, они в деревне Сорик, где живет Ахмед. А там ни одной живой души.

Паша и его люди малость отдохнули, а потом Махмуд-хан приказал спалить все селение.

Из одного горящего дома вышел весь седой, с клочьями сажи на бороде и на ресницах, древний старик, одетый в но-вехонький, с голубой вышивкой, шаль-шапик — излюбленный наряд курдов. Это был Софи.

Смотрит он на пашу в упор немигающим орлиным взглядом и говорит:

— Что ты бесчинствуешь, паша? С тех пор как стоит мир, еще ни один человек не вернул чужого коня, который прибился

к его дому. Неужто не знаешь ты этого обычая? Видно, уж совсем стал османцем. Из-за одного коня сжечь целую деревню! Берегись, паша! Проклятье Горы падет на твою голову! Не простит она тебе этого злодеяния!.. А ведь я знавал твоего отца. Настоящий йигит был — не тебе чета, хоть ты и пашой стал. Уж он-то не пошел бы против обычая. Даже если бы его конь прибился к дому вдовы, сироты или вора — все равно не потребовал бы обратно. Так-то вот, паша. Проклятье Горы падет на твою голову!

Ничего не ответил ему Махмуд-хан, только процедил:

— Свяжите ему руки, наденьте железный ошейник и отведите в тюрьму.

Много деревень разбросано по склонам Горы. Из одной в другую шли люди Махмуда. Но везде пусто. Будто вымерли все селенья. Злится, беснуется паша. Кричит с пеной у рта:

— Смутьяны, бунтовщики!

Человек он высокий, рослый. Глаза — карие, борода — черная курчавая, нос — клювом. И в словах и в делах выказывает спесь необузданная. Говорит он, правда, мало, все больше думает. Осанка у него величавая, поступь — широкая, размашистая. Кутается он в соболя, весь потом исходит, а мехов не снимает.

Прошел паша со своим войском по долине Игдыра, миновал Башкёй, вышел в ахурийскую долину и поднялся к горным пастбищам. И нигде — ни чобана, ни путника случайного, ни разбойника. Ни птиц, ни зверей никаких — ни медведей, ни лисиц, ни диких кошек. Таким, вероятно, был мир до сотворения живых существ. Даже мошки и жуки и те куда-то запропастились.

— Все равно отыщу их,— кипятится паша,— хоть под землей спрятались — отыщу. Даже если в Иран, Хиндистан или Китай удрали — все равно отыщу.

Курдские беи и слова молвить не смели — помалкивали.

Подкатила зима. Устали, выбились из сил и лошади и аскеры с тяжелыми заплечными сумками. Весь Большой Агрыдаг об-

шарили, добрались до Малого. И по-прежнему — никого. Пожелтел паша, спал с лица. Но все ярится. Неужто так и не попадетсЯ им ни одна живая душа? Только эту злобу в себе носит — никому ни слова. Что надо — рукой показывает.

Один из курдских беев, Молла Керим, как-то набрался духу и сказал Махмуд-хану:

— Мой паша! На этой огромной Горе хоть тыщу лет ищи, все попусту. Уж если эти горцы запрячутся, их и сам шайтан не отыщет. Убей меня, паша, если я говорю неправду.

Поглядел на него паша — глаза грустные-прегрустные, но так ничего и не ответил.

Двинулись дальше. Одно только желание у паши — лишь бы увидеть хоть кого-нибудь, кроме этого дряхлого Софи.

Не выдержали, в конце концов, беи, собрались, стали обсуждать, как быть дальше. Сколько можно плутать по горам! Лошадей загнали, сами с ног сбились, а толку никакого. Паша же и слушать ничего не желает — весь злобой пышет. А зима уже на носу. Так и жди снежной бури или лавины. Дело опасное. Посовещались беи и решили все-таки переговорить с пашой.

Подошел к нему Молла Керим и, почтительно прижав к груди руки, говорит:

— Мой паша, разреши смиренно доложить тебе о нашем решении. Вынуждены мы прекратить поиски, разъехаться по домам. Но вот тебе наше слово: через три-четыре месяца, еще и зима не окончится, приведем тебе и коня и Ахмеда.

— Да что там конь и Ахмед,— отвечает паша.— Я только хочу знать, куда подевалось столько народу. На всей Горе — никого, кроме Софи. Муравьи и те попрятались. Хочу видеть людей. Еще до того, как сойдет снег.

Снова собрались на совет курдские беи. Долго спорили и опять послали к паше Моллу Керима.

— Хорошо. Найдем тебе и людей. Еще до того, как сойдет снег. Положись на наше слово.

Вернулись все они в беззидскую крепость. Пригласил паша беев в мраморный зал, щедро одарил за службу. Беи, понятно, радовались, но душу их точило беспокойство. Как сыскать Ахмеда? Эти горцы знают каждую тропку в горах, их там и до

судного дня не выследишь.

Махмуд-хан был человек неглупый, образованный. Он почитал османского падишаха, гордился славой Османской империи. Дед его и отец были из горных краев. Паша не знал, когда они переселились на равнину, знал только, что отец учился в Эрзрумском медресе, а затем перебрался в Стамбул. Там достиг высокого поста, и падишах пожаловал ему титул паши. Отца своего Махмуд-хан хорошо помнил. Он отличался орлиной смелостью, был решителен. Отец давно обосновался в беязидской крепости, куда со всех сторон стекались ученые люди, певцы и сказители. Его воле покорялись все курдские беи — от Эрзрума до Карса, от Карса до Вана. До глубокой старости дожил он — и до последнего дня в седле! На лето, оставив свой роскошный дворец, он поднимался в горы, разбивал там шатер. Рядом были ледники, и от них веяло приятной прохладой.

Горцы относились к отцу Махмуд-хана с большим уважением. Возможно, чуточку и побаивались, но по-настоящему уважали. И он платил им взаимностью. Обычаев, во всяком случае, не нарушал. Махмуд-хан хорошо помнил, как отец собирал у себя в шатре по сорок — пятьдесят кавалджи и с упоением слушал их игру.

Интересно, как поступил бы отец на его месте? И как поступили бы горцы? Вернули бы коня? Ответа на этот вопрос не было, точно так же как не было ответа и на другой вопрос: как смогут беи выполнить свое обещание. Что, если горцы укроются в Хороссане или еще где-нибудь?

Сам паша, как и его отец, учился в Эрзруме, затем служил в Стамбуле. Отличился. Покрыл себя славой в сражениях.

Живал он в Дамаске, Алеппо и Каире. Бывал в Софии и Трансильвании. Изъездил весь восток и запад. Но в конце концов вернулся в беязидскую крепость. По настоятельной просьбе отца. Сам он, по своей охоте, ни за что бы не покинул Стамбула. Через двенадцать лет отец умер, и титул паши перешел к нему — как к старшему сыну.

Долгое время Махмуд-хан не мог привыкнуть к горам, к здешним людям и нравам. Роскошью беязидский дворец пре-

восходил даже стамбульские дворцы, но освоился он там с трудом. Долго тосковал, скучал. Рассеяться ему помогли го-рянки: и лицом хороши, и станом стройны, таких тоненьких девушек нигде больше нет. В первый раз он женился на армянке. Во второй раз — на дочери курдского бея. Третью жену привез себе с Кавказа. Четвертую — с берегов озера Урмийе. От этих четырех жен родилось у него три дочери и восемь сыновей. Было у паши еще пятеро братьев — все они жили на игдырской равнине. Он их слегка презирал, чурался. Лишь младший брат жил сначала во дворце, но потом и он перебрался к другим братьям. Женился на девушке из своего рода да так и осел в тех краях. Паша до сих пор не мог простить ему этого.

Лишь одна страсть была у Махмуд-хана — охота. Каждой весной он отправлялся вместе со своими ловчими на Эсрюк-даг или Сюпхан-даг либо в Сорскую или Зиланскую долину. Там он охотился на оленей и возвращался с сотнями шкур.

Одну из дочерей паши звали Гюлистан, другую — Гюльриз, третью — Гюльбахар\*. Гюлистан, дочь армянки, была высокой рыжеволосой девушкой с большими голубыми глазами, осененными длинными ресницами. Наряды себе она выписывала из Стамбула, следуя придворной моде. Так же поступала и Гюльриз, белокурая красавица с небесно-синими глазами и длинной лебединой шеей. Из всех трех эта была самая образованная, еще девочкой знала наизусть стихи Ахмеди Хани\*\*, придет, бывало, в мраморный зал и читает всем собравшимся. Паша любил ее больше остальных. Гюльбахар сильно отличалась от своих сестер — ростом пониже, но зато плотно сбитая, лицо светлое, открытое, орехово-смуглое. По принятому у горянок обыкновению она носила несколько нижних юбок, волосы заплетала в сорок косичек. На шее — золотое ожерелье, на ногах — браслеты с изумрудом и жемчугом. От природы она была большая умница. Говорила мало, почти всегда улыбалась. Все прочие дети паши редко выходили из дворца, с

\* Гюлистан — букв. «страна роз», Гюльриз — «осыпанная розами», Гюльбахар — «весна роз».

\*\* Средневековый турецкий поэт, почитавшийся как святой.

простым народом не знали. Иное дело — Гюльбахар. Ни одна большая гулянка, ни одна свадьба без нее не обходились.

Жители Беязида и горцы просто обожали Гюльбахар, чтили ее как святую. Захворает ли какой бедолага, несчастье ли где приключится, Гюльбахар уже тут как тут. На коне она ездилась как заправский йигит. Паша никогда не вмешивался в ее дела, лишь поглядывал издали, думая: «Родись она мужчиной, всей бы этой Горой как падишах заправляла!»

Гюльбахар изнывала во дворце от тоски и скуки. Общего языка с сестрами не находила — все одна да одна. Шел ей тогда двадцать второй год. Взглянет — в глазах боль затаена, но улыбка у нее добрая-предобрая, только ямочки на щеках играют. Недаром горцы прозвали ее «Улыбчивой девушкой».

История с конем заинтересовала ее больше всех во дворце. Она частенько заходила в тюрьму, расспрашивала обо всем Софи, который ей так полюбился, что она сама, своими руками, носила ему лакомства из дворцовой кухни.

— Верно говорят люди, — подтвердил Софи. — Три раза съезжал Ахмед на дорогу — и три раза конь возвращался к его дверям. Этот конь — дар господень. Ахмед никому его не отдаст. И даже если бы захотел отдать, ему бы не позволили. Горцы умрут, а коня не отдадут.

А однажды он попросил:

— Принеси мне кавал.

Только сказал — смотрит, Гюльбахар несет ему рожок. А рожок-то старый-престарый, лет сто, верно, будет. Хоть и ничего не сказала девушка, а очень удивилась: как это Софи, в его-то годы, будет играть на кавале. Для этого и зубы крепкие нужны, и грудь могучая. Присмотрелась Гюльбахар — хоть спина у старика и согбенная, а зубы все до одного целы-целехоньки, так и сверкают белизной.

Заиграл Софи на кавале. А Гюльбахар присела у двери тюрьмы, привалилась спиной и слушает. Заслушалась, даже не шелхнется. А Софи знай себе играет, ни на миг не остановится.

Наконец опустил он кавал. Только тогда, будто после долгого сна, очнулась Гюльбахар, тихо, еле внятным голосом спросила:

— Что это за мелодия?

— Старинная. «Гнев Горы» называется. Сочинили ее еще отцы отцов наших.

Каждый день в предрассветную пору приходила Гюльбахар к темнице. И Софи играл для нее «Гнев Горы». Вот только никак не хотел объяснить, почему Гора разгневалась. Гюльбахар его спрашивает, а он молчит, лишь изредка уронит:

— Впала Гора в гнев — о том и сложили дастан отцы наших отцов. Я знаю только мелодию, а слова спрашивай у сказителей, не у кавалджи.

Так и не сумела дочь паши выпытать у него тайну.

— Слушай мой кавал внимательно, — говорил ей Софи. — Он ведь и рассказывает о гневе Горы, моя повелительница. Видно, совсем одряхлел я, кавал перестал меня слушаться. Вай, вай!

Гюльбахар слыхивала этот знаменитый дастан и раньше. Исполняли его не только бродячие певцы и сказители, но даже дети и женщины. Но Софи играл как-то по-особому. И гневу Горы у него тоже, видимо, было свое объяснение.

Паша, разумеется, знал, что его дочь принимает большое участие в старом Софи, даже еду ему носит из дворцовой кухни. Знал он и то, что она слушает его игру на кавале.

Велел он привести узника в мраморный зал.

— И хотел бы, да не могу тебя отпустить, пока Ахмед не приведет коня, — сказал он Софи. — Обещай, что постарайся его уговорить, и ступай себе с богом.

— В этом деле я тебе не помощник, — гордо ответил старик. — Конь — это дар господень. Сам Ахмед еще может прийти, а вот коня не приведет. И уговаривать его я не стану.

Обозленный паша отправил Софи обратно в темницу и приказал позвать Гюльбахар.

— Чтобы больше ты не смела ходить к этому Софи! — сказал он. А слово паши во дворце закон — попробуй только послушаться.

Через несколько дней прискакал гонец от хайдаранского бея.

— Да успокоится сердце паши, — передал он слова курдских беев. — Мы нашли место, где скрываются горцы. Там и Ахмед с

конем. Скоро они будут в твоих руках.

Оказалось, что Ахмед увел всех горцев к шемдинанским курдам, в Хакарийские горы.

Послали туда сына мянкого бая. Муса-бей — так его звали — нашел Ахмеда в узорчатом лиловом шатре, что стоял в долине среди сотен других.

Ахмед приветствовал его как дорогого гостя.

— Паша хочет видеть тебя, — сказал Муса-бей. — Больше ему ничего не надобно — только тебя видеть. Даже коня своего не требует. Пусть горцы спокойно возвращаются домой. Бей уговорили пашу простить тебя и всех остальных. Но его, видишь ли, заело любопытство, хочется знать, что за человек — этот Ахмед. «И пятнадцати коней не пожалею, лишь бы поглядеть на такого йигита», — сказал он баям. Вот они и послали меня к тебе.

Шемдинанские бей и вожди горских племен долго спорили: не ловушка ли это. Но трудно было допустить, чтобы высоко-родные бей унизились до подобного обмана. Неужто османский паша не дорожит своей честью? В конце концов собравшиеся склонились к мысли, что паша и впрямь желает видеть Ахмеда. Просто любопытствует, что он, мол, за человек.

От Муса-бея Ахмед узнал, что Софи заточен в темницу. Жаль ему было старика, очень жаль. Никакие уговоры не могли заставить Софи покинуть свой дом. Легче было бы скалу сдвинуть с места. Мог ли он подумать, что паша упрячет его на старости лет в тюрьму?!

— Не волнуйтесь за него, — успокаивал Муса-бей. — Софи не так уж плохо живет. — И рассказал о его дружбе с Гюльбахар-ханым. Все были рады это слышать.

— Муса-бей, — сказал ему Ахмед, — ты прибыл сюда как друг, и я не могу отказать тебе в твоей просьбе. Мы все вернемся в родные края, и я спущусь в беязидскую крепость. Но только один, без коня.

— А зачем конь? — подхватил Муса-бей. — Я уже тебе говорил, что паша хочет видеть тебя одного.

И вот в начале весны горцы возвратились в свои деревни. Ахмед же в сопровождении курдских беев отправился в

безыдскую крепость. Паша встретил его достаточно миролюбиво, хотя и с обычной своей насмешливостью и высокомерием.

— Здравствуй, султан Горы. А где же конь?

— Дома,— ответил Ахмед.

— Ты похитил моего коня,— засмеялся паша,— знаешь, какое наказание за это полагается?

— Я не вор,— гордо отрезал Ахмед.— Конь этот — дар господень. Поэтому вернуть его я не могу. Ты ведь и сам родом из наших краев, знаешь обычаи.

— Плевать мне на ваши обычаи! — яростно завопил паша.— Или приведи коня, или я велю отрубить тебе голову.— И приказал своим стражникам:— Посадить его в тюрьму!

Беи, что сопровождали Ахмеда, не решились и рта раскрывать.

— Можешь отрубить мне голову, воля твоя,— крикнул схваченный стражниками Ахмед.— Но коня тебе все равно не видать.

Такого оборота дела Муса-бей не ожидал.

— Ты поступаешь бесчестно, паша,— возмутился он.— Бесчестно и низко. Я поверил твоему слову, привел Ахмеда, а это, оказывается, коварная уловка.

Тут уж паша окончательно рассвирепел.

— И этого тоже в тюрьму! — гаркнул он. И набросился на курдских беев:— Так-то вы держите свое обещание? Где мой конь, я вас спрашиваю, где мой конь? Не хватало еще, чтобы какой-то худородный горец одержал верх надо мной, пашой османским!

— Ладно. Хоть и трудное это дело, а приведем тебе коня,— пообещали беи.

Слух о том, что произошло во дворце паши, быстро распространился от Вана до Малатьи, от Малатьи до Кавказа, всю Анатолию облетел. Певцы слагали вдохновенные песни об Ахмеди и коне.

Все горцы были возмущены вероломством паши. Негодовал и род милянского бея.

Едва очутясь в темнице, Муса-бей попросил прощения у Ахмеда:

— Не таи на меня обиды! Знай я, что у паши на уме, наотрез отказался бы от такого поручения. Лучше смерть, чем позор.

Софи очень обрадовался Ахмеду. Обнял его, долго целовал. Затем достал свой кавал и начал играть «Гнев Горы». Со слезами на глазах слушали его Ахмед и Муса-бей. Излив свою душу, старик передал кавал Ахмеду. Тот весь кипел от ярости, призывая проклятье Горы на головы паши и беев. Заиграл Ахмед. Совсем по-другому пел кавал. Мелодия вроде бы та же самая — «Гнев Горы», а вот слушаешь, и кажется, будто скалы шатаются, еще миг — и рассыплются на мелкие куски.

Услышала Гюльбахар его игру и, недолго думая, со всех ног кинулась к темнице. Даже и не вспомнила об отцовском запрете. Будь что будет, а она должна увидеть человека, который с таким вдохновением играет на кавале. И увидела. В груди ее жарко запылало какое-то новое, еще не изведенное чувство. И гнев против отца.

Присела Гюльбахар у стены, да так заслушалась, уж и не помнит, где она. Не скоро очнулась. Но как только очнулась, захотелось ей сделать хоть что-нибудь для узников. И для Софи, и для Ахмеда, и для Муса-бея, чьим мужеством она восхищалась. Зашла она на дворцовую кухню и вместе с очень любившими ее поварами приготовила вкусные блюда. Слуги унесли их в тюрьму.

Узнала об этом ее мать, призвала к себе и говорит:

— Если отец проведает о том, что ты вытворяешь, никого не помилует.

А Гюльбахар и бровью не ведет:

— Ну и пусть! Он так опозорил свое имя, что мне безразлично, что он там еще делает.

Один за другим тянулись дни. Курдские беи так и не привели коня. И вестей от них никаких не поступало.

Ахмед и Муса-бей по-прежнему томились в темнице. Тайком от паши Гюльбахар посылала им разные лакомства, а то и сама шла хоть издали поглядеть на узников.

Как-то раз, не выдержав, сказала она Софи:

— Я хочу поговорить с Ахмедом. Предупреди его об этом.

Крепко запал ей в душу молодой горец. Да и то сказать — парень хоть куда. Волосы золотые, волнистые. Глаза голубые, большие и ясные, лицо длинное, узкое. Чудится, будто вобрало оно в себя всю боль, всю тоску мира, что-то в нем есть от раненой газели. Смотришь, и кажется, что Ахмед в каком-то странном волшебном сне. Во всей его осанке, в каждом его взгляде было что-то воспламеняющее кровь, что-то уводящее в далекий неведомый мир. Гюльбахар мнилось, будто они знают друг дружку чуть не с самого детства. И уж во всяком случае давно: познакомились на свадьбе или на празднестве. А может быть, это именно он снился ей по ночам — такой родной и близкий!

— Но ведь старший тюремщик не разрешит вам свидеться, — сказал Софи. — Чего доброго, еще паше донесет. Тогда мы все пропали.

Его слова, однако, не остановили Гюльбахар. С того дня потеряла она покой. Ночами ворочалась без сна. И все видела перед собой молодого горца. Стоит он перед ней в золотом сиянии, весь улыбкой светится, но в глазах голубых — горе горькое. Тяжкая, видно, выпала ему доля. Может быть, нет у него ни отца, ни матери, ни братьев — никого-никогошеньки! Изболелось, изныло сердце Гюльбахар. «Надо с ним поговорить, — думает она, — надо поговорить. Может быть, и сыщется лекарство против его хвори. Нелегко ему, бедняге. Да еще в тюрьму угодил!»

Гюльбахар и сама не понимала, что с ней творится. И днем и ночью — все перед ней Ахмед. Наваждение да и только! Куда ни пойдет, а сердце ее все к тюрьме тянет. Войти туда — дело не простое. Дверь толстая, железная. Тяжелый замок с цепью. Обложена она большими, нетесаными камнями на прочном растворе.

Старшим тюремщиком был Мемо. Паша ему безгранично доверял, любил как родного сына. Отец Мемо был одним из самых верных и отважных воинов Махмуд-хана. Он пал в сражении, когда его сыну было всего лишь два годика. Воспитывался Мемо во дворце, а когда подрос, паша назначил его старшим тюремщиком.

Был он еще молод. Как и отец, отличался мужеством и преданностью: не раздумывая, отдал бы жизнь за своего покровителя. Из таких-то людей и подбирают тюремщиков. Ко всему еще он немногоречив. Когда с ним заговаривают, как девица, заливается румянцем. Гюльбахар не могла припомнить, чтобы Мемо хоть раз поглядел ей прямо в глаза. Только увидит ее — весь запылает, губы бледно-лиловые, руки трясутся. Смотрит в землю, ни слова не говорит. Гюльбахар приписывала это его природной стеснительности.

Все это время она тайно посылала узникам вкусную еду. Не обделяла и Мемо. И каждый раз не забывала ему сказать: — Своими руками приготовила, брат Мемо! Для тебя старалась.

Гюльбахар лишь дважды или трижды удалось увидеть Ахмеда — и то издалека. И все благодаря Мемо. Иногда он оставлял дверь тюрьмы открытой, а сам куда-то исчезал. Стоя на каменной лестнице, что вела в глубь темницы, Гюльбахар разговаривала с Софи, а сама так и ловила глазами его молодого друга, который разгуливал по самому дну глубокого, словно колодец, подземелья. Он походил на могучий утес, но шаг у него был легкий, пружинистый, кажется, вот-вот — и он взвьется ввысь. Статный, величавый — настоящий мужчина!

В стенах тюрьмы, чуть повыше дна, оставлено было несколько узких, в локоть длиной, отверстий: днем сквозь них просачивался неяркий свет.

Тюрьма стояла на самом краю пропасти. Внизу расстилалась безыдская равнина. Оттуда, с караванной дороги, доносился иногда звон колокольцев. Его отголоски долго еще бились об отвесные склоны. Одно такое отверстие было и на высоте человеческого роста. Знал об этом весь окрестный народ. И боготворил сирийца, главного строителя дворца. По слухам, он сам долго томился в заточении, потому и совершил это милосердное дело. Дескать, будь что будет, а я оставляю в стене узкое окошко и сделаю так, чтобы ни один тиран не осмелился его замуровать.

Достроив дворец, сириец уехал. Но, уезжая, оставил пер-

вому владельцу такое письмо: «Если кто-нибудь осмелится замуровать эти окна, дворец рухнет на его голову. И он сам, и его потомки, и весь его род будут прокляты!»

Ни один паша так и не решился заделать эти отверстия. Вот почему беязидская темница была воспета во многих дастанах. Кто туда ни попадает, прежде всего возносит молитву главному строителю дворца — Сюлейману-уста.

Зимой ли, летом мир в этом окошке неизнаваемо преобразается. Как-то странно течет, оплывает. Днем по небу летят журавли, гуси, утки и дрофы, ночью — сверкающие звезды. По дорогам проходят караваны. В светлом мерцании покоится река. И кажется, будто вся необъятная, в три полосы, равнина, окутанная прозрачной дымкой, стремится куда-то вдаль.

Выйдя на свободу, узник тщетно искал эту заколдованную равнину — то в солнечном золоте, то в смоляном мраке, то зеленую, в ярких крапинках цветов, то лиловую или медноцветную, то под сплошным снежным покровом, — вечно изменчивую, зыбкую, плывучую. Волшебство в тот же миг рассеивалось.

Софи, Ахмед и Муса-бей поочередно глядели в это окошко. На смену весне шло лето. По утрам над равниной, заслоня дальние холмы, висело голубое кружево тумана. С приближением дня туман окрашивался в розовый цвет, а затем улетучивался.

Сердце Гюльбахар пламенело любовью. Все, к чему ни прикоснется ее рука, будь то человек или вещь какая-нибудь, тотчас озарялось этим пламенем. И сама она была будто ветер, разносящий пожар, — все время в движении, ни одного мгновенья спокойного. Радость в ее душе чередовалась с отчаянием. Страшно ей: вот выйдет Ахмед на свободу — никогда больше не увидит его она. И никто — ни отец, ни падишах, ни даже Караванный Шейх — не поможет ее горю. Все в мире случается, одного не будет: не увидит она Ахмеда после его освобождения.

О чем только не передумала Гюльбахар в эти дни! О любви, о горе горьком, о разлуке, о смерти, о несправедливости, жестокости отцовою. Чувства ее походили на коней, закусивших удила.

И вдруг она впала в какое-то странное оцепенение. Тело сковала страшная усталость. Оно ныло и болело так, будто его били палками. Как полумертвая, бродила она по дворцу, вызывая у всех жалость. Но буря, бушевавшая в ней, затихла.

Три дня не говорила она ни с кем ни слова. Три дня блуждала холодная, сонная, отчужденная, лицо бледное, волосы тусклые, даже зубы, казалось, потеряли всегдашнюю свою белизну. Лишь по временам вспыхивал в ее глазах прежний огонь да глубоко в ямочках щек таилась горделивая улыбка, которую не могло омрачить предчувствие неминуемого горя.

А затем снова разразилась буря. Снова переменялась Гюльбахар — просто не узнать. Вся она — с головы до пят — любовь. Любовь и радость! Носится по дворцу, все никак не может дожидаться наступления вечера.

Как только стемнело, выбежала она из крепости, остановилась тут же, за воротами, и смотрит на кузню. А оттуда золотым дождем сыплются искры. Где-то в глубине орудует кузнец Хюсо, только трудно его разглядеть.

Постояла немного Гюльбахар — и помчалась к гробнице Ахмеди Хани. Пала на колени, стала молиться о заступничестве. Точно бурный паводок, разметавший плотину, полились ее молитвы. А когда отошла, наконец, от гробницы, склоны Горы уже окутала — такая долгожданная! — ночь. Заморосило.

Отныне Гюльбахар знала, как ей поступить, до тонкости знала. Будущее не сулит ей ничего отрадного, но она должна выполнить свой долг. Во что бы то ни стало.

В комнате у нее стоял прочный, орехового дерева, расписной сундук. Гюльбахар достала из него кавказское рубиновое ожерелье — подарок бабушки, золотой перстень, жемчужные браслеты, привезенные ей дядей из Хиндистана, и афганское кольцо в нос, тоже от дяди, ссыпала все это в бархатный мешочек и кинулась к темнице. Мемо жил в боковой пристройке. На ее стук он тут же открыл дверь. На боку у него висел длинный, до щиколотки, меч. На плечи наброшена была шитая кавказским серебром аба\* из шкуры гнедого жеребца. На го-

\* Накидка из меха.

лове высилась шапка из козьего меха. При виде Гюльбахар он весь засветился радостью. Но в тот же миг эта радость уступила место темному отчаянию. Глядя на него, опечалилась и сама Гюльбахар, погасла вспыхнувшая было надежда.

Мемо стоял, с обычной своей застенчивостью потупив глаза. Руки и ноги у него дрожали. Подрагивали и губы.

— Возьми, я дарю тебе все это,— молвила девушка, протягивая ему мешочек с драгоценностями.

Мемо, ничего не отвечая, заглянул в мешочек.

— Только дозвожь мне увидеться с Ахмедом,— добавила она.

Не удержал Мемо мешочек, уронил на каменный пол — зазвенели драгоценности. Дочь паши нагнулась, подняла, снова подала Мемо:

— Возьми все это. Только дозвожь увидеться с Ахмедом. А потом донеси отцу. Пусть он прикажет отрубить мне голову.

Мемо был смертельно бледен, ни одной кровинки не осталось в его лице. Медленно-медленно поднял он глаза на Гюльбахар. Это был взгляд умирающего. Потупиться на этот раз пришлось дочери паши.

Мемо не спеша извлек из-за пояса большой ключ, протянул его Гюльбахар и ушел. Миг-другой дочь паши стояла в нерешительности, не зная, радоваться ей или печалиться. И вдруг у нее хлынули слезы. Долго-долго сидела она, рыдая, на пороге. Подумывала даже, не оставить ли ей ключ в комнате Мемо. Кое-как поднялась на ноги, с бешено колотящимся сердцем подошла к тюрьме и отперла огромный замок. Внутри — тьма кромешная. Только где-то внизу трепещет — вот-вот порвется — тоненькая нить света.

Гюльбахар спустилась по ступеням, вырубленным в стене еще за сотни лет до постройки крепости. На дне каменного колодца не было заметно никакого движения. Стены и пол были гладкими, словно покрытые толстым налетом морской соли. Сырости вовсе не чувствовалось. Веяло кисловатым запахом дубленой кожи.

Внизу, у подножья лестницы, дочь паши остановилась, тихо позвала:

— Софи, Софи.

К ней тотчас же подошел старик.

— Добро пожаловать, моя повелительница. Как ты сумела сюда пробраться? Не дай бог паша узнает, все на плаху угодим. В этой тюрьме никогда еще не бывала ни одна женщина. Тебя ведь никто не видел? Скорее уходи!

— Где Ахмед? Я хочу с ним поговорить.

— Сейчас, сейчас.

В темноте послышался невнятный шепот. Сердце девушки застучало так сильно, что ей показалось, будто стены тюрьмы откликаются громким эхом.

Она нетерпеливо ждала.

С пола поднялась высокая тень — вероятно, Ахмед. У Гюльбахар подломились ноги, закружилась голова. Чуть было не упала, но в последний миг успела опереться о стену. Но когда почувствовала на своем лице жаркое дыхание Ахмеда, сразу же пришла в себя. Оба они стояли молча, затем Ахмед заговорил:

— Это ты, Гюльбахар?

— Да,— чуть слышно выдохнула дочь паши.

Обоим им чудилось, будто они уже давным-давно, чуть ли не с малых лет, знают друг друга. Их обволакивало облако любви — жаркой, дружески-нежной и прекрасной. Всю тюрьму заполняло собой это облако.

За несколько дней до того Софи исхитрился залучить в подземелье стайку каменных куропаток. В любой час дня и ночи птицы весело щебетали. Но Гюльбахар еще не знала об этом и, услышав их щебет, испуганно подалась вперед, схватила Ахмеда за руку. Они вместе поднялись на караульную башенку, что высилась в двух шагах от края глубокой пропасти. Над равниной, во все небо, сияли россыпи звезд. На дальних холмах лежала огромная тень Горы. А над самой Горой стыла старая подслеповатая луна на ущербе. И вдруг ее поглотила зловещая иссиня-черная туча. Гюльбахар невольно стиснула руку Ахмеда.

До первых петухов сидели рядышком. И только заслышав голоса, поднялись на ноги. Точно два языка пламени, разъеди-

нились их руки. Ох как не хотелось Гюльбахар разлучаться. Так бы и сидела там молча. Пока не наступит день. И пусть каменные плиты оросятся ее алой кровью. Опять взяла она руку Ахмеда. Опять слились воедино языки пламени. Но уже начинало светать. Простясь с ней, Ахмед спустился в каменный колодец — Гюльбахар услышала, как брякнула, закрываясь за ним, тяжелая тюремная дверь. Какой-то миг она стояла в замешательстве, не зная, что делать, куда идти, — и вдруг вспомнила о зажатом в ее руке ключе. Мемо в его пристройке не оказалось. Встревоженная Гюльбахар металась по всему дворцу, пока, наконец, не отыскала его за внутренней крепостной стеною — он сидел справа от больших ворот, прислонясь спиной к каменной кладке. Не шевельнется, не шелохнется — словно умер. Даже звуки шагов девушки не могли привести его в себя.

Дочь паши потрясла ключом над самым его ухом. А лицо у него все такое же застылое. Будто ничего не слышит и не видит Мемо. Ждала-ждала Гюльбахар, пока он очнется, так и не дождалась. Положила ему ключ на колени:

— Спасибо тебе, брат. Век не забуду твоей доброты.

А Мемо все сидел с тем же отрешенным видом.

Разлучась с Гюльбахар, Ахмед ощутил гнетущее одиночество. Неужто наяву, не во сне, держал он жаркую руку девушки, вдыхал дурманящий аромат ее тела? Неужто это и впрямь не сон? — вновь и вновь спрашивал он себя. От глубочайшей радости и счастья он переходил к мучительным сомнениям и отчаянию, и не было этому конца.

Вот, стало быть, почему конь остановился у дверей его дома! Так предначертал господь. Этот конь и эта девушка — дар господень, дар Горы. И он, Ахмед, должен быть достоин столь великой милости.

Так размышлял молодой горец, и перед его глазами неотступно стояла дочь паши — настоящий цветок гор, яркий и благоуханный.

— Дай мне кавал, — попросил он Софи.

И заиграл новую, доселе не слышанную мелодию. Наслаждались ею только Софи, Муса-бей и куропатки. Долети она до

слуха Гюльбахар, девушка просто с ума сошла бы от радости.

В тот день Гюльбахар скиталась по дворцу как неприкаянная. Ни к чему не притрагивалась, ничего не ела — и все думала, думала. Отец ни за что не отпустит Ахмеда. Но даже если бы отпустил, их пути навсегда разойдутся. Невозможно и помыслить, чтобы паша выдал свою дочь за простого горца. Тем более что считает его смутьяном.

И вдруг до нее донеслись звуки кавала. Она так вся и затрепетала. Словно лист на ветру. И предалась безумным мечтам. Ах, если бы Ахмед все-таки вышел на свободу. Однажды ночью он похитит ее, умчит в степь, где бродят джейраны, где раскинули свои гостеприимные шатры курдские племена. Люди с Горы для них — выходцы из другого мира, чуть ли не святые. Но ведь у отца, как и у всех османцев, руки длинные. Куда бы они с Ахмедом ни забрались, хоть на край света, все равно изловит их и убьет. Эта мысль будто огнем опаляла ее сердце.

«Сегодня же ночью пойду к Ахмеду!» — решила она. Страшно только, как бы отец не узнал. Крут он на расправу, никого не пощадит — ни ее, ни Ахмеда, ни Мемо. Но почему Мемо ведет себя так странно? Не взял такие дорогие вещи? Без слов отдал ей ключ?

Гюльбахар старалась не вспоминать о Мемо, о его полных боли глазах, гнала его образ прочь, но все тщетно. Давно уже заметила она что-то странное в отношении к ней Мемо. Почему он так предан ей, разобьется, но выполнит любую ее просьбу?

Итак, решено, сегодня ночью она пойдет к Ахмеду. И не только сегодня, но если удастся, то и завтра и послезавтра. Но как попросить ключ у Мемо? Как посмотреть в его полные боли глаза? Выполняя ее просьбу, он испытывал жестокие, смертные мучения. Этого нельзя, невозможно не замечать!

Тоска становилась все нестерпимее. И вместе с ней росло негодование — девушка готова была бросить вызов своему отцу, его прислужникам, обычаям, Горе, всему свету.

Из мраморного зала слышался зычный, густой бас Махмудхана. Гюльбахар как будто видела его перед собой. Мужчина, что и говорить, он заметный, обращающий на себя всеобщее

внимание. Когда говорит по-курдски, всегда оживляется, смотрит орлом. До сих пор Гюльбахар любила только своего отца. Восхищалась только им. И отец знал о ее чувствах.

Весь вечер бродила девушка по дворцу, стараясь держаться поближе к мраморному залу. Остановится, прислушается, не стихло ли внутри, и опять начинает ходить. Наконец, наступила полная тишина, все разошлись. В это время отец обычно совершал вечерний намаз.

«Что, если сейчас зайти к нему? — мелькнула у нее мысль. — Пасть в ноги и сказать: «Не как твоя дочь — как простая девушка-просительница пришла я к тебе, Махмуд-хан. Выслушай же мою смиренную мольбу. Пощади Ахмеда. Ради меня пощади. Вспомни о своем происхождении, Махмуд-хан. С великой Горы идет слава нашего рода. Так говорил мой дед, твой отец. И уж кто-кто, а ты хорошо это знаешь, Махмуд-хан. Рядом с нашим старым домом было орлиное гнездо...»

Однажды, когда аскер открыл дверь, она чуть было не вошла внутрь. В последний миг удержалась. Опасная, безрассудная это затея. За себя она не боится. Но ведь как только отец услышит о ее просьбе, он тотчас прикажет обезглавить ее возлюбленного.

Наступила полночь. Весь Беязид погрузился в глубокий сон. Только Гюльбахар не спит. Крутится, ворочается, все слышится ей звон цепей из темницы.

Дело это опасное, безрассудное. Рано или поздно их тайна раскроется — и тогда отец велит казнить Ахмеда. В этом дворце ничто не ускользнет от глаз его хозяина. Сестры уже верно, почувствовали неладное. Стоит кому-нибудь проследить за ней и... Страшно даже подумать, какая буча поднимется. Да и можно ли положиться целиком на Мемо? Что, если, спасая свою голову, он пойдет и расскажет обо всем отцу? Может ли он донести?..

Обуреваемая своими мыслями и страхами, Гюльбахар поднялась с постели, оделась и вскоре — сама не заметила как — очутилась у тюрьмы. Она подошла к пристройке. Угрызения совести, стыд, робость не позволяли ей постучать. Но тюрем-

щик — он как будто дожидался ее прихода — вдруг распахнул дверь. Гюльбахар повернулась и пошла прочь. Но он догнал ее и протянул ключ.

— Поговорите у меня в комнате,— пробормотал он чуть внятным, срывающимся голосом.

Гюльбахар с трудом открыла железную дверь тюрьмы. Спустилась вниз по ступеням, позвала:

— Софи, Софи!

Затая дыхание, Ахмед ждал ее с самого вечера. Нет, с того мгновенья, как она ушла. Чуть заслышит какой-нибудь шум или шорох, сразу вскакивает на ноги. Подбежал он к Гюльбахар — сплелись два языка пламени.

Дочь паши все никак не могла забыть о Мемо. Почему он предложил поговорить с Ахмедом у него в комнате? Уж не святой ли он? Возможно ли, чтобы на свете существовало подобное благородство и великодушие? Гюльбахар была подавлена.

Вновь повела она Ахмеда в караульную башенку. Только на этот раз уселись они со стороны пропасти, обращенной к востоку. Откинулись спиной к стене — и сидят молча, не разнимая рук. Ночь тихая-тихая, и каждому чудится, будто он слышит биение сердца другого.

— Правда ли это?— прорыдала Гюльбахар.

— Что правда?— не понял Ахмед.

— Что через сорок дней, если не приведут коня, и тебе, и Софи, и Муса-бею отсекут головы?

— Правда.

Застонала Гюльбахар, пробормотала что-то невнятное.

— А ты узнала меня?— спросил Ахмед.— Помнишь нашу первую встречу около Кюп-гёля?

— Конечно, помню,— отозвалась дочь паши.— Ты ведь вел танец? А сам-то ты меня помнишь?

— Еще бы. Как сейчас вижу перед собой. На ногах у тебя были коралловые браслеты.

Гюльбахар вся истаивала, точно в сладостном сне.

— Тогда, на берегу озера,— проговорила она,— какой-то длинноволосый певец три дня и три ночи исполнял песнь о Сийе Ахмеди Силиви. И это было только самое начало.

— Эта песнь исполняется сорок дней,— объяснил Ахмед.— Конца ей нет — такая длинная.

Гюльбахар глубоко вздохнула.

— Значит, вас всех казнят?

— О себе я не думаю,— тихо молвил Ахмед.— Чему быть, того не миновать. Но рубить голову столетнему старику — это ведь неслыханная жестокость! Жаль мне Софи, так жаль, сердце разрывается! Совсем он одряхлел. Но держится молодцом, не унывает. Весь скрючится, а играет себе на кавале. Жаль мне его, ах как жаль, слов нет! Спас бы его, если б мог. Паша грозитя казнить его первым — на глазах у всех нас.

— Молюсь, чтобы вы все остались в живых,— сказала дочь паши. И прильнула к Ахмеду.

— Смотри, чтобы паша не услышал твоих речей,— предостерег Ахмед возлюбленную.— Он и тебя убьет.

— Ну и пусть,— с вызовом бросила она.— И пусть!

— А еще мне жаль Муса-бея. Безвинно человек страдает. Я бы и рад привести коня, но ведь наши не отдадут. А если и отдадут, как я потом посмотрю им в глаза? Хорош йигит, скажут, испугался паши, отдал ему дар господень. Такого позора я не вынесу.

Гюльбахар склонила голову на плечо Ахмеда. К горлу подкатил комок, заплакала. Рыдает, а сама говорит сквозь слезы:

— Да пропади ты пропадом, конь! Сгинь!

Загорланили утренние петухи. Из-за Горы выкатилось румяное, похожее на стеклянное яблоко, солнышко.

Разъялись огненные языки-руки. Ахмед спустился на дно колодца. Гюльбахар проводила его взглядом, не в силах даже приподняться. Уже настал день, когда она наконец смогла выбраться из тюрьмы.

Ее томили тяжкие раздумья.

Отец верен своему слову, сказал: «Казню»,— значит, казнит. Даже если от падишаха придет фирман с помилованием, все равно на своем настоит. И нет у Ахмеда никакого выхода. Вернет этого проклятого коня — горцы его не простят. Умрет для них заживо. А допустить, чтобы из-за него погибло двое

невинных, совесть ему не позволяет. Но что он может поделать? Со скованными-то руками?

Даже ценой собственной жизни не могла спасти Гюльбахар своего возлюбленного. И Ахмед понимал это.

Всякую надежду потеряла Гюльбахар. Ни один луч не пробивается во тьму ее души. Быстро прибывающим паводком затопляет ее отчаяние — вот-вот захлестнет с головой. Сорок дней радости отпущено ей на всю жизнь. И ни одним днем больше. Да и радость эта горькая: радость держать руку обреченного на казнь, живого мертвеца обнимать. Но что бы ни произошло, даже если возвратят коня, никогда больше не увидит она своего возлюбленного. Уйдет Ахмед к себе в горы, а она останется здесь одна, словно камень на дне колодца. И все для нее будет кончено. Только этого не случится. Не отдаст Ахмед коня. Прямо на глазах у нее отсекут ему голову, наденут на шест остроконечный и с улюлюканьем потащат по всему городу. И все зеваки будут таращиться на его золотые волосы, обрызганные алой кровью...

В ушах у Гюльбахар не смолкая звучали слова старинного плача: «Лица твоего целовать я не смела, но кровью они обагрили его».

Горько рыдала дочь паши, представляя себе, как с крепостной стены сбрасывают бездыханное тело Ахмеда. Летит оно вниз, ударяясь о выступы скал, а в самом низу сплющивается о каменистое дно пропасти. И в ушах ее все звучало: «Лица твоего целовать я не смела...»

Гюльбахар обдумывала всевозможные способы спасти своего любимого. Он должен жить, непременно должен! Даже если она никогда больше его не увидит. Даже если он женится на другой, наплодит ребятишек, что волчат. Но он должен жить. Даже ценой ее смерти.

Однако отчаиваться еще рано, приободрила она себя. Неужто отец Муса-бея допустит, чтобы сыну отрубили голову? А как поступят курдские беи? Ведь это их коварство погубило Муса-бея. Не попросят ли они горцев отдать им коня? «Сами посудите,— скажут,— не погибать же из-за него троим людям!»

Горцы — народ кремневый, просьбами да мольбами их не примешь. Но ведь обычай не позволяет им отпускать просителей с пустыми руками. Обычаи же они блюдут свято. В душе Гюльбахар блеснул слабый огонек надежды.

«А что, если мне самой попросить их?— подумала вдруг она.— Неужто же они откажут женщине?.. Ну что ж, если беи из страха перед моим отцом не посмеют обратиться к горцам, отправлюсь к ним сама, спасу Ахмеда. И пусть я никогда больше не увижу его. Пусть он женится на другой, наплодит ребятишек, что волчат...»

Девушке надо было посоветоваться. Как быть: отправиться ли самой либо попросить отца Муса-бея? Послать ему весточку?

Весь день провела она в тягостных раздумьях. Больше всех — после матери и отца — любил ее брат Юсуф. Но и ему не решалась она открыться. Не убьет ли он ее на месте? Заслуживает ли он полного доверия? А если да, то согласится ли сопровождать ее к горцам? Дело это рискованное, его могут схватить как заложника. Да и ее тоже. «Нет, нет, — отмела это опасение дочь паши, — горцы — люди справедливые, не то что мой отец. Им и в голову не придет задержать гостя, просителя. А уж женщину-просительницу — что бы она ни натворила — они и пальцем не тронут. Ни за что на свете!»

Так и не придумала она, что делать. Пошла к брату. Юсуф, сидя на постели, отчищал старый меч, пытаюсь разглядеть начертанные на нем письмена и узоры.

— Ты что это так поздно?— сказал он с улыбкой.— Ночь уже.

Ничего не ответила Гюльбахар, села рядом с братом. Лицо у него — удлинненное, тонкое и такое бледное, будто его никогда не касался луч солнца. Прочитав в его глазах немой вопрос, удивление, девушка бросилась ему на шею, разрыдалась. Лишь после того как она, наконец, выплакалась, Юсуф спросил холодно:

— Что с тобой, сестра?

— Только ты один и можешь помочь моему горю,— уклончиво молвила Гюльбахар.

Юсуф широко открыл глаза.

— Какое же у тебя горе?

С трудом подавляя волнение, Гюльбахар ответила:

— Ты должен спасти меня от смерти.

Еще сильнее удивился Юсуф. И закричал нетерпеливо:

— Да расскажи ты, в чем дело! Толком расскажи!

— Если мы их не спасем... отец отрубит им всем головы,— скороговоркой зачастила Гюльбахар.— Поедем в горы... попросим, чтобы возвратили коня... Я знаю, горцы не откажут... Помоги мне, брат!

— Отец, говоришь, отрубит им головы? Так им и надо, этим негодяям! Тебе-то что? В чем твое горе?— И вдруг Юсуф впилился глазами в сестру:— Неужто, Гюльбахар?.. Неужто?..

— Да,— тихо произнесла дочь паши.

Юсуфа будто ветром смахнуло с постели, на ноги вскочил:

— Так за кого же ты хлопочешь? Неужто за Ахмеда?.. Отец тебя убьет!.. Убьет!.. Убьет!..

Как одержимый заметался Юсуф по комнате. Ну точь-в-точь огнепоклонник, исполняющий свой танец на костре. И все повторяет:

— Отец тебя убьет!.. Убьет!.. Убьет!..

Глаза — большие, круглые от страха.

«Уж не рехнулся ли он?» — испугалась Гюльбахар.

— Ты сошел с ума, Юсуф,— закричала она.

— Нет, это ты сошла с ума,— дико захохотал ее брат.— Ты сошла с ума, ты... Отец тебя убьет!

Последнюю попытку сделала Гюльбахар:

— Так не поедешь со мной к горцам?

А Юсуф знай одно бормочет:

— Ты сошла с ума, сошла с ума.

— Но ведь если горцы не вернут коня, их всех троих казнят. Я этого не переживу, наложу на себя руки.

— Что ты, что ты, Гюльбахар! — залепетал Юсуф.— Выдумала тоже: «Наложу на себя руки!» Такого и в мыслях не держи!.. Но за конем, ты уж меня прости, я с тобой не поеду. И тебе не советую. Отец тебя убьет.

Увидела Гюльбахар, в каком он смятении, схватила его за руки.

— Зря, видно, я тебе доверилась, — стонет. — Смотри только не проболтайся. Даже матери ничего не говори. А уж сестрам и подавно. Они меня просто со свету сживут.

— Не скажу, не беспокойся. Да и как сказать? Отец, если узнает, велит разрезать тебя на куски, а потом скормит собакам. Сама не проговорись, а уж я буду держать язык за зубами.

Странно вел себя Юсуф — словно его подменили. Испугался, будто маленькая птичка, которая прячет голову под крыло, я, мол, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. А ведь на вид настоящий йигит. «Ах, как я в нем обманулась! — думала дочь паши. — Ведь он, того и гляди, выложит все отцу».

Так и ушла она от брата ни с чем.

Приткнулось на юго-западном склоне Агрыдага, чуть не у самой вершины, озерцо — Кюп-гёль называется. Невелико оно, не больше тока молотильного, зато глубокое — что колодец бездонный. Синее-синее, стелется оно около багряных, острогранных, поблескивающих скал. Каждый год, по весне, собираются здесь чобаны со всей Горы. Расстилают свои бурки, украшенные знаком солнца, на медноцветной земле, рассаживаются кругом, достают из-за кушаков кавалы и до самого вечера играют мелодию «Гнев Горы». Молодцы они все как на подбор пригожие, с печальными карими глазами, с длинными тонкими пальцами. Кой у кого — пышная волнистая золотая борода. И пока чобаны играют, вьется над ними крохотная, белая как снег птица. Но вот солнце заходит, чобаны встают и смешиваются с наступившими сумерками. И как раз в этот миг птица молнией падает вниз, окунает одно крыло в озерную синь — и тоже растворяется в полутьме. От прикосновения ее крыла по воде расходятся мелкие волны. А потом над озером проносится тень исполинского коня.

Беязидская крепость стоит на большом утесе на южном склоне Горы. Утес обрывается круто, а внизу начинается равнина, пересеченная караванными дорогами. К востоку от крепости вздымает свои глинобитные стены сам город Беязид.

Кузня Хюсо примостилась у подножья утеса. По ночам из

нее извергается поток искр. Зрелище это очень красивое. Им любитесь даже сам Махмуд-хан, когда бывает в духе.

Никто не знает, сколько Хюсо лет, но волосы у него сплошь седые. Работает он вместе с пятерыми своими сыновьями, выковывает необыкновенно прочные и великолепные, с золотой насечкой, мечи. Ни разу в своей жизни не заходил он ни во дворец паши, ни в дома беев. В рамазан Хюсо не постится, намаза не совершает, молитв не творит. Поговаривают, что он поклоняется Огню. По ночам он с такой силой раздувает мехи, что искры заполняют всю кузню, мощным снопом вылетают из двери. И тогда якобы Хюсо опускается на колени и тянет руки к пылающему горну.

Зимой и летом ходит он в одной набедренной повязке из грубого суровья, подпоясываясь алым кушаком.

Весь город спит. Только Гюльбахар, объятая бескрайним отчаянием, смотрит в окно своей спальни. И невольно любитесь снопом искр, выплескивающимся из кузни. Где-то вдали Софи играет «Гнев Горы». А с беззидской равнины доносится безумный храп напуганного коня.

— Софи! — крикнула Гюльбахар.

Музыка оборвалась.

— Слушаю, моя госпожа.

— Остается так мало дней... Неужто же нет никакого спасения?

— Нет, моя госпожа.

— Я выпущу тебя, а ты приведи коня — вот вас всех и помилуют.

— Никуда я не пойду. Все равно коня не отдадут. Спасибо тебе на добром слове, моя госпожа.

Долго молчала Гюльбахар, а когда заговорила, то каким-то глухим, безжизненным голосом:

— Казнить вас — грех, жестокость великая! Вы не должны умереть. Пусть лучше рухнет этот дворец!

— Пусть рухнет этот дворец, — отозвался мягкий голос старика.

— Неужто конь может стоять жизни четырех людей?

— Конечно, нет, моя госпожа. Но ведь дело не в коне. Это только предлог. Одно могу сказать: этот дворец рухнет. Как и тысячи других.

— Неужто же нет никакого спасенья? Что, если я сама поднимусь в горы? Отыщу Ахмедово племя, скажу: Ахмед и Софи просят возвратить коня.

— Не делай этого.

— Тогда я паду в ноги отцу, попрошу вас всех помиловать.

— Не делай этого, моя красавица. Не делай этого, моя повелительница. Не стоят того наши жизни. И все же благодарю тебя. Софи — твой раб, о медоречивая! Раб черного серебра твоих волос! Раб твоих газельих глаз! Раб твоего стана стройного! Сердца твоего, любви твоей, великой, как любовь Лейлы! Из любой беды есть выход — непоправима только смерть. У любого горя есть конец, лишь у любви нет конца. Софи — раб твоей печали, твоего отчаяния. Но пусть свершится воля судьбы. Не вмешивайся, моя госпожа. Так будет лучше для тебя.

— Знаю,— простонала дочь паши,— так будет лучше для меня. Отец, если узнает, не пощадит ни его, ни меня. Но остается так мало дней. Если вас казнят, я покончу с собой на вашей могиле. Помогите мне, Софи. Умоляю, помогите...

Она все говорит и говорит, сама не понимает что, а Софи не отвечает ни слова. Сидит как изваяние.

Но едва Гюльбахар ушла, он схватился за кавал. Всю ночь, пока утренний свет не просочился в окошко, играл не переставая.

Вернулась во дворец Гюльбахар, села у окна. Смотрит на кузню Хюсо, а потом вверх — на Гору. Тяжко дышит Гора, вздрагивает. Могучий гул доносится из ее недр. И в этот гул вторгаются мерные удары кузнечного молота.

Бьется ум Гюльбахар, ищет какого-нибудь выхода. Неужто же никто не поможет ей? Ни птица летучая, ни змея ползучая? Неужто перед ней стена глухая — стучись не стучись, все попусту?

И вдруг ее осенило:

Хюсо поклоняется Огню. Он, слышно, кудесник. И душа у него добрая. Может быть, он мое горе размыкает?

Вышла Гюльбахар из дворца и припустилась бежать к кузне. Нырнула в тучу искр, вынырнула — и видит перед собой кузнеца в набедренной повязке. Он продолжает раздувать мехи, а сам на нее посматривает. И лицо у него спокойное, будто он давно уже ее поджидает.

Швырнул Хюсо кусок раскаленного железа на наковальню, принял молотом орудовать, только искры летят. И так ласково улыбается, что у девушки сразу отлегло от сердца.

— Добро пожаловать, Гюльбахар-ханым.

Дочь паши сначала рассказала ему о коне.

— Знаю,— молвил кузнец.

Рассказала об Ахмеде, Софи и Муса-бее. Выложила все как было, без утайки.

— Знаю,— снова обронил Хюсо.

А вот когда Гюльбахар поведала ему и о своей любви к Ахмеду, он ничего не сказал, ни «знаю», ни «не знаю». Задумался глубоко и молчит.

— Отец назначил казнь на следующую субботу,— продолжала дочь паши.— Их должны обезглавить в крепости. Неужто никак нельзя их спасти?

И на это ничего не ответил Хюсо. Долго длилось его раздумье. Угли в горне погасли, железо остыло. А Хюсо все стоит думает, думает.

Только когда заголосили петухи, поднял он опущенную голову.

— Приходи ко мне завтра вечером,— говорит,— может, и придумаем что-нибудь...

Его слова заронили надежду в сердце Гюльбахар.

Вот уж и солнышко — багровое, стылое — выкатилось из-за Горы. Зашумел, зашуршал ветер, студию повеял.

Сидит Гюльбахар у окна и все ждет, не случится ли чудо какое. Стаями белых птиц вылетают искры из кузни. Белым-бело небо над дворцом. А Гюльбахар все ждет и ждет, сгорая

от нетерпения. И чудится ей, будто отворяются все двери дворца. Распахивается и тяжелая тюремная дверь. Ее Ахмед — на свободе. Обнявшись, сидят они на берегу Кюп-гёля, среди скал, где вьют себе гнезда орлы. С улыбкой смотрят друг другу в глаза, радостные, счастливые. Каких только чудес не рисуется воображению девушки. Мнит она себя героиней сказа о гневе Горы — и не описать, что в душе у нее творится.

Еле-еле дождалась Гюльбахар вечера. Извелась, измытарилась, подняться не может. Лишь с полночными петухами кое-как встала и, опираясь о стены, побрела по коридору. Сердце билось, как у пойманной птицы.

«Эйвах,— вздохнул Хюсо, когда ее увидел.— Я и думать не думал, что ее любовь так сильна. И всего-то один день прошел, а уж, бедная, еле жива!»

Сколько ни ломал он голову, ничего не мог придумать. Однако Гюльбахар глядела на него с такой надеждой, что у него просто язык не повернулся сказать ей правду.

— Ладно, не горюй,— утешил он дочь пашы.— Уж как-нибудь спасем их от казни. Ты только сходи потолкуй с Караванным Шейхом. Он живет в той деревне, что прямо внизу.

— Я знаю, где он живет,— сказала Гюльбахар.— Но ведь он ни с кем не разговаривает.

Караванный Шейх был уже дряхлым стариком. Маленький, кругленький, словно ком теста. А вид — величавый. Длинная борода сверкает, словно снег, под лучами солнца.

Перед домом, где обитает Шейх, высится огромный священный дуб, который почитают чуть ли не больше самого Шейха. По всей стране ходит молва о чудесах, совершенных ими обоими.

В этом месте сходятся караванные пути из Аравии, Трабзона, со всей Анатолии. Отсюда отправляются в Иран-Туран, Хиндистан, Китай. Все караванщики, откуда бы ни были родом, всегда оставляют немного денег под дубом. Никто к этим добротным даяниям не притрагивается — так и лежат там высокой кучей. Лишь по праздникам Шейх раздает их всем беднякам. О тех, кто не хотел или просто забыл оставить здесь пожертвование, рассказывают ужасные истории.

В предутреннюю пору над этим дубом покачивается Звезда Караванщиков. Всем заплутавшим, всем, кто в беде, указывает она верную дорогу.

Сюда-то и явилась Гюльбахар. Постояла у дуба, потом заглянула в дом Шейха, попросила передать ему, что ее послал Хюсо. Шейх тут же пригласил ее в свои покои.

Восседал он на большой пушистой медвежьей шкуре. Его голубые глаза лучились звездами. И весь он походил на хрустально-светлый и прозрачный ручей. Гюльбахар опустила перед ним на колени, трижды поцеловала его в плечо.

— И я тоже караванщица,— молвила,— бедная караванщица, сбилась с пути в горах, пришла к тебе за помощью. Помогите же, не то мы все погибнем. Буря бушует, мгла все кругом застилает. Я, птица беззащитная, сижу на дубу перед домом твоим, а вокруг вьются орлы да коршуны. Клювы у них острые, сердце мне выключают.

Тронуло ее горе старого Шейха. Поразила его красота ее дивная.

— Расскажи мне, в чем беда твоя, доченька.

Все рассказала ему Гюльбахар, ничего не утаила. Запустил Шейх руки в бороду свою пышную, задумался. А сам смотрит в окно на звезду, полыхающую голубым огнем. Ждала-ждала Гюльбахар, пока он что-нибудь скажет,— все тело онемело, а он все молчит, размышляет. Наконец вымолвил:

— Иди с миром, дочь моя! Небо не допустит гибели невинных. С одной стороны звезды — тьма, с другой — свет... Иди, дочь моя. А я помолюсь за твое счастье и благополучие... Передай кузнецу: надо позаботиться, чтобы конь был возвращен паше. И еще скажи ему: пусть заглянет ко мне.

Гюльбахар ушла от него радостная, даже голова кружилась. Стало быть, есть еще надежда...

Вернулась она во дворец, ждет, что дальше будет. А в душе — смятение сильное. Хоть и верит кузнецу, Шейху, дубу, Звезде Караванщиков, да уж больно зол отец. И чем ближе день казни, тем злее. И не подступись. А сам он ни с кем не заговаривает. Все время один и все время так и пышет яростью. Побледнел, осунулся, спина ссутулилась. Что-то его гнетет, что-то честь

его задевает — но что, он и сам сказать не может.

Гюльбахар не решалась теперь ходить в тюрьму. Мемо каждый раз встречает ее, будто тяжело больную, падшую, отчаявшуюся женщину. Этого унижения она не может стерпеть. И такой он участливый, такой великодушный, бескорыстный — ну просто святой! А в глазах — боль нечеловеческая. Взглянет — кажется, железо растопится, не то что слабое человеческое сердце.

В эти дни дочь паши частенько думала о Мемо. Каждую ее просьбу он безотказно выполняет. Головой рискует, а выполняет. И даже не просто с охотой, а с какой-то беспредельной радостью. Скажи она: «Пожертвуй за меня жизнью, Мемо!» — ни на миг не задумается, счастлив будет. Видно, любит ее без памяти. Жарко пылает, видно, его сердце. Он радуется и грустит, устраивая ей свидания с Ахмедом. И не поймешь, что сильнее — радость или грусть.

— Ах, Мемо, Мемо,— вздыхала Гюльбахар,— пока душа теплится в теле, не забуду твоей доброты. До последнего своего дня не забуду!

Она все время держалась возле тюрьмы, но старалась не попадаться на глаза Мемо.

Холодное ночное небо усыпано было мириадами крупных и мелких звезд. Все затихло, замерло. Ни малейшего дуновения ветерка.

Не в силах уснуть, Гюльбахар сидела на обычном своем месте — у окна. И когда замерцал рассвет, вдруг увидела коня возле кузни. Чуть погода появился кузнец. Вскочил в седло и поскакал в сторону Горы. У Гюльбахар зашло сердце. Она сразу смекнула, куда и зачем он путь держит.

По всей округе разнеслась весть, что Хюсо отправился к горцам. И будто бы с собой у него печать самого Шейха. Народ ликовал. Не может быть, чтобы кузнец вернулся с пустыми руками. Повеление Шейха — тем более скрепленное его печатью — священо для всех. В этих краях ни один человек не осмелится ему противоречить.

Услышав эту весть, съехались курдские беи. Прискакал и

отец Муса-бея, а с ним и его люди в широких, из козьего меха, бурках и высоченных войлочных шапках. И все они тоже радовались. Никто только не мог понять, почему всемогущий Шейх вмешивается в это сугубо мирское дело. Откуда услышал он о предстоящей казни? Ведь он живет в полном уединении, отрешенный от этого мира.

До казни оставалось всего три дня. Одно только опасение, что Хюсо не успеет обернуться за такой короткий срок, и умеряло общее ликование.

Узнал обо всем этом, конечно дело, и Махмуд-хан. Ну и взбесился же он! Почем зря честил Шейха — зачем-де суется туда, куда его не просят! Успокаивала его лишь надежда, что Хюсо не успеет управиться. Эти горцы — такие строптивцы, они и на печать самого Шейха не посмотрят. Его слово для них не указ. Но что, если они все же возвратят коня?

Размашисто шагая по мраморному залу, паша громко ворчал:

— Даже если приведут коня, не отменю казни. Ни за что не отменю. В субботу им всем троим отсекут головы и кинут останки собакам. Такова моя воля! Эти ослушники посмели бросить вызов мне, османцу! Их кровь прольется на алой заре. Я не пощажу даже этого тысячелетнего смутьяна Софи.

Кузнец вернулся в четверг вечером. И привязал беглого коня паша у ворот крепости.

В городе воцарилось праздничное оживление. Все надели самые красивые свои наряды. Женщины повязали яркие цветные шарфы — альвала.

Как безумная, ринулась к тюрьме Гюльбахар. В диком волнении даже не заметила, как переменялся Мемо. Его прекрасные черные глаза утонули в глазницах. И таилась в них тоска неизъяснимая, боль полного одиночества — будто нет у него никого на всем свете. С большим трудом вытащил он ключ из-за пояса и не отдал его — уронил в подставленные ладони девушки.

Спотыкаясь, еле волоча ноги, побрел Мемо к воротам крепости. Опомнился он лишь при виде коня, который стоял подняв морду и принюхиваясь. В сумраке тускло поблескивало серебро его сбруи. Никто из обступивших его людей не

решался притронуться к нему — такой грозный был у него вид. С ненавистью смотрел на коня Мемо. Эх, взмахнуть бы мечом да отрубить ему голову! Стиснув рукоять меча, Мемо бродил вокруг да около, пытаясь побороть это желание. Тяжело давалась ему эта борьба, весь вспотел.

Меж тем в пустой караульной башенке на краю пропасти Гюльбахар и Ахмед сливаются в жарких объятиях. Золотым облаком любви окутывает их ночь. И они — в забытьи. Будто над ними уже нависла смерть, и они тщатся вместить любовь, которой могло бы хватить на всю жизнь, в несколько коротких часов. Только на пороге смерти возможно подобное единение, сгорание в огне любви.

Там-то, в караульной башенке, и нашел их Мемо на рассвете. Они лежали, укрывшись большой аба из оленьей шкуры. Так неразрывно было слияние их тел и душ, как будто они превратились в одно живое существо.

Замер Мемо. Стоит с обнаженным мечом в руке и кусает губы. Вся кровь прихлынула к лицу.

Глядит он на безмятежное, младенчески счастливое лицо Гюльбахар и мало-помалу успокаивается. Наконец убрал меч, зашагал прочь. Только увидел коня у ворот крепости, опять разъярился. Снова выхватил меч, кинулся обратно. Взбегает на башню и видит, что Гюльбахар с Ахмедом спят крепким сном. Еще светлее лицо девушки. Еще ярче жемчужины зубов. Еще прелестнее, чем всегда, ямочки на щеках. Рассыпались, разметались длинные волосы, заслонили лицо Ахмеда. Никак не может насмотреться Мемо. Так бы и стоял тысячу лет, красотой ее любовался. Да уж совсем рассвело. «Сейчас они проснутся», — подумал Мемо. Стыдно ему стало своего безумства. Но что делать — не может он отвести от Гюльбахар взгляда. Будто на веки вечные хочет облик ее запечатлеть. В самом сердце.

Проснулась Гюльбахар, увидела Мемо с мечом наголо, догадалась, что у него на уме, и покрепче прижалась к возлюбленному. Только пронеслось в голове: «Вот и хорошо, что он нас прикончит». Приоткрыл глаза и Ахмед. Понял, что им грозит, подумал: «Вот и хорошо» — и крепче обнял девушку.

Затаили дыхание оба, ждут, когда на них обрушится сверкающий, будто роса в солнечных лучах, меч. Три раза поднимал руку Мемо — и три раза бессильно опускал, видя, как тесно прижимаются возлюбленные друг к дружке, не отводя от него взглядов, полных ожидания смерти. Так и не убил их тюремщик — снова бросился к воротам крепости, где в эту пору смеялись часовые. И снова с мечом наголо принялся как одержимый метаться между воротами и тюрьмой. А потом взмахнул мечом да как саданет по голубому граниту тюрьмы! На весь дворец, на весь город пошел звон. А клинок, будто ледяной, разбился на мелкие кусочки-ледышки.

Опять — уже в какой раз — вбежал Мемо на сторожевую башенку. Смягчилось, наконец, его сердце, вернулось к нему обычное благородство.

— Утро уже. Вставайте, — говорит. А возлюбленные прильнули друг к дружке, всё смерти ожидают. — Да вставайте же вы! А то еще, неровен час, кого-нибудь нелегкая принесет.

Рассеялось золотое облако любви. Встали возлюбленные. И дочь паши побежала к крепостным воротам: очень ей хотелось взглянуть на коня. А тот стоит себе спокойно, не рвется. Вспыхивает, так и слепит глаза, в первых лучах солнца серебряная и золотая отделка его упряжи.

Простерла Гюльбахар руки навстречу встающему дню. Радостно стало у нее на душе.

Чему быть, того не миновать, думает. Ахмед уйдет. Отныне она никогда больше его не увидит. В этот миг вместились все счастье ее жизни. Все, что ей остается — это воспоминания об одной прекрасной ночи. Но ведь и это совсем не так уж мало.

— Спасибо тебе, солнце нарождающееся! Спасибо тебе, Гора сверкающая! Спасибо тебе, творец! — громко восклицала она.

Солнце стояло уже на высоте минарета. К воротам крепости поодиночке, по двое потянулись курдские беи с длинными тяжелыми мечами. Не спеша обходили коня, внимательно осматривали и только потом степенно направлялись во дворец.

Мраморный зал оглашали гневные крики Махмуд-хана.

— Не мой конь, — вопил он. — Со всем достойным почтением к Шейху заявляю, однако, что конь не мой. Посему назна-

ченная на субботу казнь не отменяется.

Попробовал было Мустафа-бей, из зиянцев, возразить: «Да нет же, конь твой», — как паша набросился на него:

— Ты что, держишь сторону бунтовщиков? Говори прямо!

— Он не то хотел сказать, — поспешили вмешаться другие беи. — Ты его не так понял.

— Не так понял? Это я-то не так понял?

Беи сразу на попятную:

— Извини, паша. Обмолвились мы. А ты все верно понял.

Замолчали беи. Ни слова больше. Радость как рукой сняло.

— Вот вам моя воля! — громко объявил Махмуд-хан. — В субботу утром воры, укравшие моего коня, будут обезглавлены перед всеми османскими подданными. Сегодня же глашатаи возвестят об этой моей воле на рынке.

Откланялись курдские беи, ушли. Возмущены были так, что едва сдерживались. Битый час толклись вокруг коня, снова его осматривали, а затем все в один голос заявили:

— Его конь. Валлахи-билляхи, его конь. И знак на чепраке — его.

— Почему паша так взъелся на этих троих? — молвил кто-то. — Только и думает, как бы им головы отрубить.

— Пусть попробует, — дружно сказали остальные. — Возмездье не будет ждать судного дня.

— Не будет, не будет! — раздались крики.

В тот же день глашатаи объявили о предстоящей казни — кого казнят и за какое преступление.

Народ негодовал. И пуще всех — кузнец Хюсо. С молотом в руке подбежал он к крепостным воротам и ну кричать-обличать:

— Это произвол, паша! Неслыханный произвол! И ему будет положен конец!.. Конь — твой, паша. Хоть и недостойн ты владеть им, но он твой. Это святая правда. Я сам привел его.

Отвязал он повод от железного кольца, отпустил коня. А сам все кричал-обличал:

— Недостойн ты быть его владельцем. Недостойн называться человеком. Недостойн!

Все дома, все лавки в Беязиде обежал конь. Остановился на главной площади, задрал морду, шумно втянул воздух и заржал. Застонали небо и земля, услышав это ржание. Гора содрогнулась. Взвился конь на дыбы — вот-вот взлетит — и понесся стрелою к Горе. Будто падающая звезда чиркнула по своду небесному, миг один — и пропала, растворилась бесследно.

Все, кто слышал ржание коня, говорили:

— Несдобровать паше. Несдобровать.

Тем временем палачи уже точили свои широкие тяжелые тесаки — готовились к заутренней казни.

Гюльбахар была в полном отчаянии. Весь день не находила себе места, как неживая блуждала по дворцовым покоем. А когда смерклось, торопливо направилась к кузне.

Хюсо встретил ее такими словами:

— Что поделаешь, дочь моя. Все наши старания оказались тщетными. Даже сам Шейх не может предотвратить их казнь. А уж я и подавно. Такова, видно, воля судьбы.

Молча, беззвучно заплакала Гюльбахар и пошла обратно во дворец.

Отравлю отца, думает. Дам ему яду змеиноного. Такого яду, что человек и несколько шагов не успевает сделать, падает замертво.

Попробовала она обратиться к Юсуфу. Но брат и разговаривать с нею не захотел. Окинул суровым, даже враждебным взглядом и отвернулся.

Тогда она пошла к управителю, Исмаилу-ага. Знала, что отец очень любит его, считается с ним. Но Исмаил-ага был в таком удрученном состоянии духа, что она просто не решилась к нему подойти. И с матерью говорить не стала, поняла, что зряшное это дело. Казалось, все во дворце — стены, мраморные колонны, курдские ковры — смотрит на нее с неприязнью. Даже ее любимицы, пушистые, разноглазые — один глаз голубой, другой — золотой, белые ванские кошки, казалось, избегают хозяйку.

Села Гюльбахар, взяла на колени свою любимую кошку и заговорила с ней сквозь слезы:

— Милая моя кошечка! Синеглазка-золотоглазка моя! Только тебе и могу я излить свое горе. Убьют они ненаглядного моего, орла моего горного. Недолго длилось мое счастье — вот уже и конец ему.

Кошка свернулась в клубочек, мурлычет. Чувствует Гюльбахар: мгла вокруг нее сгущается, тяжким камнем давит отчаяние. И все жалуется, плачется:

— Завтра, моя кошечка, казнят Ахмеда. Убьют его злодеи жестокие. Не переживу я такого несчастья — наложу на себя руки.

Взяла свою любимицу на руки и поспешила к тюрьме. А кошка пригрелась, размурлыкалась сладко.

Коснулась Гюльбахар холодной двери тюрьмы, только тогда приходит в себя стала. Не сразу заметила, что около нее стоит, опираясь на свой огромный меч, Мемо. На нем длинная, до колен, аба из оленьего меха. Печаль облегла его прекрасное продолговатое лицо, в глазах затаилась. Эбеново-черная борода подрагивает.

— Завтра ему отрубят голову, а туловище сбросят в пропасть. И я туда кинусь,— продолжала говорить девушка, не сознавая, что Мемо слышит каждое ее слово.

И вдруг стала молить его:

— Ты уже сделал мне столько добра. Позволь же еще раз свидеться с ним.— Голос ее прерывался, она сама плохо понимала, что говорит.— А еще лучше — отпусти его. Отпусти его на свободу. Ради меня.

Выронила кошку Гюльбахар, схватила Мемо за руки. Он остолбенел от неожиданности, стоял как зачарованный.

— Мемо, Мемо! Смертоносен твой меч. Черным пламенем горят твои глаза. Сильны, искусны руки твои. Для чего же тебе дано все это, брат Мемо? Неужто лишь для того, чтобы стеречь тюрьму? Угодать господину твоему — паше? Рубить головы узникам? Мемо, Мемо! Отпусти Ахмеда. А я выполню любое твоё желание.

— Любое желание?

— Любое, Мемо. Любое, мой брат, йигит Мемо.

— Любое?

— Да. И жизни не пожалею — все тебе отдам.— В голосе Гюльбахар просквозили не только испуг, но и невольное женское любопытство: хотелось ей знать, чего же все-таки требует Мемо.

А Мемо молчит. Стоит размышляет. И чем больше размышляет, тем радостнее его лицо. Вдруг улыбнулся он — счастливая такая улыбка — и легонько погладил волосы Гюльбахар. Та вся напряглась, поджалась, ждет, что дальше будет.

Мемо по-прежнему ничего не говорит, но весь сияет с видом человека, который добился всего, чего хотел.

— Значит, любое мое желание исполнишь?— наконец спокойно проговорил он.

— Любое,— уверенно подтвердила Гюльбахар.— Проси чего желаешь.

— Тогда подари мне прядь своих волос.

Гюльбахар не раздумывая протянула ему косичку.

— На. Отрежь своим мечом. Я твоя вечная должница.

Отрезал Мемо самый кончик косички и убрал волосы в медальон, что висел у него на груди.

— Есть у меня и еще одно желание.

— Какое же? Скажи. Я твоя вечная должница.

— Хочу, чтобы Гюльбахар всегда помнила эту ночь и меня, брата своего названного.

Гюльбахар взяла его за руки, но он высвободился и открыл дверь тюрьмы.

— Ахмед! Муса-бей! Софи! Вставайте.

Узники не спали, тотчас же вскочили на ноги. Мемо снял замки с их цепей.

— Выходите, все выходите. До рассвета остается еще несколько часов. Надеюсь, вам хватит.

Увидел Ахмед свою возлюбленную, крепко сжал ее в объятиях.

— Беги, беги,— поторопила его Гюльбахар.— Скоро вас хватятся, бросятся в погоню.

После того как освобожденные узники скрылись во тьме, Гюльбахар стала искать тюремщика, но так и не смогла его найти.

Вот уж и первые утренние лучи упали на город и на дворец. Заря — поначалу бледная, сумеречная — разгорается все ярче и ярче.

Стучатся в тюрьму палачи:

— Открывай, Мемо. Пора выводить осужденных.

А Мемо спокойно, со смешком, отвечает из-за двери:

— Сегодня ночью я их всех отпустил.

Не поверили палачи, подумали: шутит тюремщик. Но когда вошли в темницу и убедились, что там и впрямь никого нет, со всех ног кинулись к паше, доложили ему о случившемся.

Паша — руку на меч и бегом к тюрьме. А следом за ним — Исмаил-ага, тысячники, простые воины и стражники. Путь им преградил Мемо.

— Я их отпустил сегодня ночью,— говорит он паше.— Не правда ли, я хорошо поступил? Думал порадовать тебя.

— Ах ты пес паршивый!— завопил паша.— Чтоб тебе подавиться моим хлебом!

И накинулся на Мемо. А за ним и все остальные. Лютый бой завязался. Но никто не может близко подступить к тюремщику. Отбивается он от нападающих, а сам пятится назад, шаг за шагом поднимается по лестничке, ведущей на верх башни, где должны были в то утро казнить Ахмеда и его товарищей. А когда, наконец, добрался до верхней площадки, громко сказал:

— Паша! Тут бы я мог биться с вами хоть три дня и три ночи. Только для чего? Никакого смысла нет. Взял я от жизни свое, пора и честь знать. Убил я, паша, не одного твоего раба. Мог бы убить и еще несколько. Только для чего? Оставайтесь все целыми и невредимыми. Прощайте же — и те, кто меня любит, и те, кто ненавидит. Прощайте.

Сказал — и бросился вниз, в пропасть. Упал, разбился. Так и лежал там, похожий сверху на птицу с откинутым крылом.

Чуть погодя прибежал туда Хюсо со своими сыновьями. Пришли женщины, дети. И все плачут, убиваются. И не только они — весь Беязид оплакивал смерть Мемо.

Склонился Хюсо над умершим, поцеловал его в лоб. И видит: в левой руке Мемо — эта рука прижата была к сердцу —

лежит прядь волос, так и горит черным огнем в лучах солнца. С трудом разогнули пальцы — и волосы развеялись по зеленеющей земле.

В сердце Юсуфа разрастался страх. Видел он лужу крови на нежной весенней зелени. Видел коня, бродившего по улицам города. Конь-то и впрямь отцов. Почему же отец не признает его? Он уже, должно стать, обо всем знает. И о безумствах Гюльбахар — тоже. От него ничего не укроется. Его взгляд и сквозь стены каменные проникает, любой разговор издали он слышит. А уж о дочери родной ему все известно — все доподлинно. Почему Мемо кинулся в пропасть? От страха, видно. Да и что ему оставалось? Убеги он в горы, укройся в хошабской крепости, люди паши все равно его отыщут, кожу с живого спустят.

Как-то раз, еще малолетком, видел Юсуф, как наказывают преступников. Сидит он задом наперед на ишаке, весь голый, только что срам прикрыт. А ведет ишака человек с заплывшими глазами, с содранными бровями — одно мясо живое кровенеет. А по бокам — два палача огромного роста — настоящие великаны. Один с окровавленным палахом, другой — с кинжалом. Тот, что с кинжалом, схватил вдруг преступника за ухо и отсек под самый корень. Потом взглянул на собравшуюся толпу, ухмыльнулся. Закричал, задергался преступник — веревки так и врезались ему в руки. Из того места, где было ухо, кровь хлещет. А палач как швырнет отрезанное ухо! Пролетело оно над толпой, в окно лавки упало. Лавочник был широкоплечий, могучего склада мужчина с густой окладистой бородой. А увидел ухо — оробел. Пошевелинуться не может, стоит будто заколдованный.

Тем временем второй палач стал своим палахом спарывать кожу со спины преступника. Да так ловко и спокойно, точно овцу свежует. Человек на ишаке даже кричать не мог, только хрипел. Народу тогда собралось — гибель. Но лица у всех вовсе не напуганные, как следовало бы ожидать, а скорее дерзкие, с вызовом.

К вечеру казненного привезли к воротам дворца и бросили

на мощеной площадке. Столько крови вытекло — просто ужас. Весь город в крови. Улицы, лавки, дома — все в крови. Казалось, даже из-под земли хлещет кровь. Всех детей тогда выворотило. Но сильнее всех — Юсуфа. Мать плакала, сидя у него в головах. А отец снисходительно утешал:

— Ничего, попривыкнет. Таков этот мир, надо к нему приравливаться.

Но мать все заливалась слезами. Больше Юсуф ничего не помнил, память как отшибло.

С тех пор Юсуф перевидал много таких преступников на ослах. И хоть бы что! Людям головы отрубают прямо в крепости, цепями побивают их на рыночной площади, а он глядит, не сморгнет даже. Только поражает его отец. Стоит гордый, надменный, и ростом он как будто выше обычного, и в плечах шире, глаза клинками сверкают. Ни дать ни взять — грозное божество, нисшедшее с Горы. Творец и разрушитель, вооруженный громами и молниями.

Боялся Юсуф отца. Любить не любил, а вот боялся очень.

В ту ночь он не спал до утра. Лежит, крутится, а страх все сильнее сердце сдавливает. Отец знает, думает Юсуф, что Гюльбахар с ним советовалась. Знает, но до поры до времени молчит. Такой уж у него нрав скрытный, ни любви, ни ненависти, ни страха не выдает. Впрочем, кого ему и страшиться?

Размышляет Юсуф, ума не приложит, что ему делать. Может быть, бежать в хошабскую крепость, пасть в ноги бею тамошнему: не выдавай меня отцу, отошли в степи южные, где скачут газели черноглазые, где живут арабы. Но ведь и хошабский бей боится его отца. Да что там бей? Иранский шах и османский падишах и те его боятся. Все боятся. Кроме этой бедовой Гюльбахар. Да еще кузнеца Хюсо. Да еще Караванного, Шейха. Но, возможно, и сам, Шейх его опасается?

Наконец наступило утро. Так и не уснул Юсуф. Одна другой ужаснее лезли ему в голову мысли. Что, если отец проведает, какие дела творятся у него за спиной? Он и сына-то родного не помилует, прикажет глаза ему выколоть на рыночной площади, кожу с живого велит содрать...

Совсем обезумел Юсуф. Так и чудятся ему шаги палачей. Вот они врываются в его комнату, заковывают ему руки и ноги и волокут на плаху!..

Рядом с дворцовой кладовой была крохотная клетушка, втроем еще можно втиснуться, но не больше. Там-то и решил спрятаться Юсуф. Вошел, прислушивается, ушки на макушке. «Верно, меня уже ищут по всему дворцу,— думает.— Не найдут — разошлют конников по всем путям и дорогам. А впереди них помчится слух обо мне: бежал, мол, из дворца. Так и собью их с толку».

Сидит Юсуф в своей клетушке, носа не высовывает. А за дверью — в щелочку видно — постепенно темнеет. Наконец, и совсем темно стало, вечер наступил. Отлегло у него от сердца, вышел он, идет по коридору. Все встречные почтительно его приветствуют. Но почему-то с опущенными глазами. «Не иначе как это ловушка,— насторожился Юсуф.— Сейчас меня схватят». Заурчало у него в животе от голода, направился он на кухню. Сперва пахло весенними цветами, потом потянуло запахом жареного мяса. При виде его все в кухне вскочили на ноги. Постоял-постоял Юсуф, да так и не решился попросить, чтобы его накормили. Из большого зала непрерывно долетал гневный голос отца. И вдруг оборвался. Будто ножом обрезали. Бросился Юсуф во двор. Там, во всех углах, неподвижно стоят часовые, грозно усы топорщатся. Юсуф, словно гонимый зверь, юркнул в дворцовую мечеть. Оттуда забежал в гарем, к матери. Надо ей все рассказать. Да и поесть чего-нибудь, а то ведь так и ноги протянуть недолго.

Увидела его мать, испугалась:

— Что с тобой, мой мальчик? Уж не захворал ли?

— Плохо мне,— простонал Юсуф, улегшись на постель. Он весь горел как в огневице. Три дня и три ночи лежал в беспмятстве. Позвали лекарей. Влили они ему в рот свои снадобья, на четвертый день он и опамятовался: открыл глаза, разжал стиснутые пальцы. Встал, ходить начал. И одна мысль острым гвоздем сидит в голове: надо рассказать обо всем отцу. Все равно от него ничего не укроется. Тут он вспомнил о Гюльбахар. Ну и отчаянная же она! Отец все знает, а ей хоть бы что. На-

деется, верно, вывернуться. С помощью какой-нибудь уловки.

Подумал — и бегом в гарем. К Гюльбахар. А она сидит за прялкой, нить сучит. Поскрипывает прялка, жалобно так стонет.

Этот скрип окончательно свел с ума Юсуфа.

— Гюльбахар! — прохрипел он, как умирающий.

— Что, Юсуф?

— Отец прикажет глаза нам вырвать, живьем кожу содрать.

Он уже все знает.

— Это ты ему сказал?

— Нет, я не говорил, но он знает. Пропали мы, сестра. Пропали.

— Так кто же ему сказал?

— Какая разница! Знает он, да и все тут. Надо бежать, пока не поздно.

Челюсть у него отвисла. Он стоял широко расставив ноги, чтобы не упасть, и цеплялся за нее.

— Надо бежать, Гюльбахар.

— Куда же?

— Куда-нибудь.

Гюльбахар усадила его на тахту.

— Надо так надо. Но не сейчас. Погоди немного.

— Отец готовит тебе западню, — бормотал Юсуф. — Потому-то и виду не подает, что все знает. Все, все. И как ты в кузню ходила. И как кузнеца о помощи просила. И как с Ахмедом встречалась. Вот мы сейчас говорим с тобой, а он уже знает о чем. Если не убежим, он велит глаза у нас вырвать. Я сам слышал его разговор с Исмаилом-ага.

— И что же отец говорил?

— Убью, мол, я эту дочь и этого сына. Только до завтра подожду. Может быть, сами признаются, попросят помиловать их. До завтра подожду, а там уж велю их схватить.

Гюльбахар хорошо понимала, что творится с ее братом. Долгие годы и она сама испытывала нечто подобное. Кажется, будто отец видит насквозь любого человека, решительно все о нем знает. И тут уж ничего не поделаешь. Все доводы рассудка бессильны. Уж если тобой завладел этот страх, от него

никакими усилиями не избавиться. Не сегодня завтра побежит Юсуф к отцу, выложит все до мельчайших подробностей. Если только не помрет от страха. Сразу видно, что он не в себе.

Все обдумала, все взвесила Гюльбахар. Достаточно, чтобы Юсуф рассказал о коне и кузнеце, об остальном отец догадается сам. Он-то сразу поймет, что это она устроила побег узников, что это ради нее пожертвовал жизнью Мемо.

Вдруг Юсуф весь побледнел, лицо перекошилось. Крикнул только: «Я уйду», хлопнул дверью и бросился в мраморный зал. Отец сидел в окружении курдских беев. Там же находились Исмаил-ага, стражники и дервиши, прибывшие из дальних краев. Увидев сына, Махмуд-хан отпустил всех, только Исмаила-ага при себе оставил.

Кинулся Юсуф к отцу на грудь, криком исходит:

— Прости меня! Не выдирай мне глаза, не убивай меня. Ты ведь все видишь, все знаешь. Прости же меня. Видит бог, я не предавал тебя. Прости.

Задыхается, хрипит, а сам все рассказывает. И о том, как Гюльбахар приходила к нему, и о чем просила, и как бегала к Хюсо и Караванному Шейху. Ничего не утаил. Кончил он такими словами:

— Спешу, отец, а то она убежит. Может быть, уже убежала.

Яркая молния сверкнула в уме паши, все высветила своим светом. Наконец-то он понял причину предательства Мемо, которого любил как родного сына. До сих пор гнев, горе и боль застили ему глаза. Но он прозрел.

Поднялся паша, взмахнул крыльями орлиными — руками — и вдруг побледнел смертно. Губы пересохли. Шагнул он, закачался. Не обопрись о стену, так и рухнул бы на пол.

Присел он на тахту, руки к груди прижал.

— Позор на мою голову, Исмаил, — заговорил паша. — И навлекла этот позор на меня собственная дочь. А я-то все не мог понять, почему Мемо предал меня. Выходит, его околдовала эта чародейка. Кто мог бы подумать, что это она запятнает честь нашего рода, достоинство мое в грязь втопчет! Много бед испытал я в своей жизни, но такая обрушилась на меня впервые. Врасплох меня захватила... Смотри, Исмаил, не прогово-

рись ненароком. Не то позор мне будет великий. По всей османской земле... Так вот оно что, Исмаил. Хотел бы я только знать, кого полюбила моя дочь: Ахмеда или Мемо. Неужели Мемо?

Махмуд-хан и представить себе не мог, чтобы его дочь полюбила тюремщика. Стало быть, Ахмед?

— Смотри, Исмаил, не проболтайся,— повторил он.— А дочь пока наказывать нельзя.

— Нельзя,— поддакнул Исмаил.— Не то люди подумают, что между ней и Мемо что-то было.

— Как же нам поступить с ней, Исмаил? Подскажи.

— Сейчас подумаю.

Замолчал Исмаил. Молчит и паша. Долго молчали. Наконец Махмуд-хан проговорил:

— Может быть, сделать вид, будто я ничего не знаю?

— Нет, мой паша,— возразил Исмаил-ага.— Во дворце ее не удержать, убежит. У нас есть только два выхода: либо тайно ее умертвить, либо посадить в тюрьму.

— Ну что ж, в тюрьму так в тюрьму. Только поставь тюремщиком надежного человека. Не то...

— Не беспокойся, мой паша. Все будет в порядке.

Мало-помалу к паше возвращалось спокойствие. Вот когда он, наконец, понял, почему привели его коня, понял смысл мелодии, которую наигрывал Софи,— все, все понял. Видно, уже давно слюбилась его дочь с Ахмедом.

Исмаил-ага торопливо вышел. И, призвав двоих стражников, направился в комнату Гюльбахар. А она уже ждала палачей, ничуть даже не удивилась.

По знаку Исмаила стражники схватили Гюльбахар и отвели ее в пустую тюрьму.

— Помогите ханым спуститься,— говорит Исмаил-ага. Вежливо так, с подчеркнутым уважением.

Гюльбахар, однако, отказалась от их помощи, сама сошла вниз по ступеням.

Исмаил-ага своими руками запер дверь на замок, ключ взял с собой.

— Следите за ней хорошенько,— предупредил Исмаил—

ага стражников.— Головой за нее отвечаете.

Меж тем паша пригласил к себе жену, рассказал обо всем случившемся.

— Совсем занедужил наш сын,— промолвил он, показывая на обеспамятвшего Юсуфа.— Присмотри за ним. И чтобы никто не знал, где Гюльбахар. Когда Юсуф очнется, предупреди и его, чтобы держал язык за зубами.

Махмуд-хан посадил сына рядом с собой, ласково погладил его по волосам. Вскоре Юсуф пришел в себя.

— Ты у меня настоящий йигит, сынок!— похвалил его отец.— Бережешь честь нашего рода, не даешь ее пятнать. Так поступают только настоящие йигиты.

Юсуф тарашил испуганные глаза, спрашивал:

— Так ты не убьешь меня? Глаза мои не вырвешь?

Паша поцеловал его в лоб.

— Что ты говоришь! За отвагу, за правдивость не наказывают, а награждают. Я подарю тебе красивое оружие и коня.

Юсуф заплакал от радости.

— Забери его,— сказал паша жене.— Не в себе он. Видно, сильно испугался.

Вернулся Исмаил-ага, доложил:

— Мой паша, твое повеленье исполнено.

— Еще раз предупреждаю: чтобы никто ничего не знал, Исмаил!

— Твое слово — закон, мой паша.

— Наконец-то я успокоился, Исмаил-ага. Все был в каком-то смятении, ничего не понимал. А теперь все стало на свои места. А уж как наказать дочь — это мы решим позднее.

— Хорошо, мой паша. Пусть пройдет немного времени, все это позабудется, тогда и накажем ее.

Однако, несмотря на предосторожности, принятые пашой и его управителем, слух о заточении Гюльбахар в темницу разнесся по всем краям. Сперва люди не верили, потом крепко призадумались. Только кузнец Хюсо и Караванный Шейх не удивились, ждали, что так будет. Дальше — больше. Докатилась молва до берегов Ванского озера, до Эрзрума, Карса, Эрзинджана. О любви Ахмеда и Гюльбахар сочинялись песни

и дастаны. Всю Гору объяла скорбь великая.

Юноши, зрелые мужчины, женщины, познавшие радость любви, все дружно говорили:

— Пока эта девушка томится в тюрьме, нам стыдно смотреть в глаза друг другу.

Ахмед, Караванный Шейх, Хюсо, горцы и люди с равнины не спали ночами. Как рана в их груди, была жалость к несчастной узнице. И яростно пылал гнев против жестокого паши.

Величественно высится Агрыдаг, похожий на отдельный мирок в этом огромном мире. Обычно его вершина одета в облака. Но иногда, по ночам, они расходятся — и тогда глазам открываются бесчисленные звезды, кружащиеся словно палые листья под ветром. А по утрам из-за Горы выглядывает раскаленное докрасна солнце, начинается обмолот огненный.

Особенно огромной кажется Гора в темноте — точно весь мир собой заполняет. Тишина стоит мертвая — и вдруг слышатся раскаты подземного гула. Их тут же подхватывает, разносит чуткое эхо, а затем снова воцаряется безмолвие. Пустынно все вокруг, ни души. Даже в самую темную ночь не сливается Гора с окружающей тьмой, и сама она, словно ночь, шествует по земле. А если светит луна, она струит навстречу призрачное сияние. По ночам Гора внушает ужас. Стеною встает ее мрак. Ни звезд, ни отблесков. А из глубины, как и тысячелетия назад, вырывается глухой, но могучий гул.

Тяжелой каменной осыпью лежит темнота. Кругом все тихо, безлюдно. Как перед светопреставлением. И вдруг шагнула Гора, пошла. А вместе с нею и ночь. Дрожит скалистое тело. Гневная дрожь пробегает и по склонам ночи. В небесах ни звезды.

Впереди на коне скачет Ахмед. За ним следуют горцы — нет им числа. Из-под копыт и ног скатываются камни. И как эти камни, неудержимой лавиной спускаются горцы в Беязид.

В тот же самый час пробудились берега Вана, пробудилась равнина. И все там живущие потекли в Беязид. Падачими звездами низвергались люди с небес, могучими деревьями прорастали из-под земли. И не было им числа.

Когда солнце выглянуло из-за отрога Горы, Махмуд-хан увидел в окно надвигающиеся людские полчища. Гарцевали всадники, решительно вышагивали пешие в козьих, оленьих, овечьих и конских шкурах. Все рослые, черноволосые или золотоволосые, с ясными голубыми глазами, с сильными руками.

Заколыхался утренний туман, расступился. Паша подумал, что ему привиделся кошмар, закрыл и опять открыл глаза. А перед ним — те же полчища многолюдные. Впереди на коне — Ахмед. Вся кровь бросилась в голову паше. Хотел было он позвать прислужников, да язык словно прилип к гортани, слова вымолвить не может. Даже если каждый камень в Беязиде обратится в воина, все равно невозможно противостоять такому огромному скопищу. Вся равнина забита людьми, а с Горы все идут и идут люди. Бесчисленные, как муравьи. И что самое удивительное — полная тишина. Ни крика, ни возгласа. Под мощным напором с грохотом рухнули ворота крепости. Толпа хлынула к темнице. А Исмаил-ага уже успел вывести узницу наружу. Стоит у открытой двери, весь дрожит. И Гюльбахар тут же, моргает глазами: непривычен ей свет дневной. Никак не может она понять, что случилось. Все так же молча сомкнулась вокруг нее толпа — и вспять.

Около гробницы Ахмеди Хани разложили большущий костер. Ходят по пылающим углям дервиши и суфии, под аккомпанемент кавалов поют свои песни мюриды. И все склоны Горы, сколь хватает взгляд, запружены людьми, глядящими на огнеходцев. Все в алых отблесках голые тела дервишей и суфиев, словно искорки — капли пота.

— Трус я, жалкий трус, — причитает во дворце Махмуд-хан, хватается за меч, вроде хочет броситься на толпу. С трудом удерживают его Исмаил-ага и другие придворные. — Как мне теперь жить? — стонет паша. — Опозорил я свое славное имя османское. На весь свет осрамился. Упаси бог, дойдет до падишахского двора. Для чего мне тогда и жить?

Но какое войско устоит против этакого полчища?! Нечего даже и думать о сопротивлении.

— Вот беда на мою голову, — сокрушается паша. — И все

из-за этого распроклятого коня. Прогневил я, видно, Аллаха!

До самого вечера веселился народ у гробницы Ахмеди Хани. Рокочут барабаны. Полунагие, с распущенными, как зонты, волосами пляшут дервиши на углях, быстрее молнии летают их руки и ноги. А юноши и девушки, став парами, пляшут гёвенд — подобного танца мир еще не видывал. До самого дворца протянулась двойная цепь танцующих. Семь барабанщиков-давулджы и семь зурначей играли для них. До чего же приятно было смотреть на девушек в расшитых шелковых передничках. Со стороны казалось, будто это море кольшется. Волны то выше встают, бурлят, пенятся, то уменьшаются, спадают.

Отвели Гюльбахар в дом кузнеца. Вымыли, нарядили в прекрасное — будто и не люди шили, а джинны — старинное платье из лахорской ткани. Затем посадили на отцовского коня и повезли к Караванному Шейху. Туда же приехал и Ахмед.

Спешились Ахмед и Гюльбахар, помолились и поцеловали Шейха в плечо. И тот их поцеловал и благословил. За всем этим наблюдал Махмуд-хан из своего дворца. А о том, чего не видел он сам, донесли соглядатаи.

— Махмуд-хан — османец, кафир\*, — сказал Караванный Шейх. — В таком, как он, не осталось ничего человеческого. Не простит он нам всего этого. На самой Горе постарается выместить свой гнев. Никому, даже детям, не будет от него пощады. Но мы должны держаться наших древних обычаев. Отправляйся-ка ты, Ахмед, вместе с Гюльбахар к хошабскому бею. Он мой мюрид верный, в обиду вас не даст. А для надежности пошлю я с вами управителя моего — Ибрагима. Хошабский бей хорошо его знает.

Есть такой старый обычай. Если молодой человек умыкнет девушку и попросит у кого-нибудь убежища, то эту девушку уже не выдадут ее отцу — кто бы он ни был. Любой ценой выхлопочут согласие отца, выплатят калым, свадьбу справят. Из-за таких похищений частенько разгорались кровавые распри, но обычай продолжал существовать.

\* Нечестивец, гяур.

Делать нечего, отправились Ахмед с Гюльбахар в хошабскую крепость. Тамошний бей хоть и считался вассалом османского падишаха, однако независимости своей не потерял. Будь даже Гюльбахар дочерью самого султана, все равно бы ее принял. Таков закон родовой чести. Титула своего лишится, голову сложит бей, а уж того, кто убежища попросил, не выдаст. Иначе стыд и срам, в глаза никому посмотреть не сможет.

К югу от Вана, у большой караванной дороги стоял крутой обрывистый утес. Там-то, обнесенная тремя рядами стен, и высилась хошабская крепость. Внизу серебрилась река Хошаб. Никто не знал, когда возвели эту крепость, знали только, что очень давно. Из века в век в ней производили какие-то перестройки, но так искусно, что цельность ее не нарушилась. Изумительной красоты была эта крепость, другой такой, пожалуй, и не сыскать.

Ахмед и Гюльбахар остановились у подножья утеса. Коней своих оставили внизу, в конюшне бейских аскеров, а сами пошли к воротам. Часовой хорошо знал Ибрагима и беспрепятственно пропустил их в крепость.

— Этот Махмуд-хан не признает ни обычаев, ни традиций,— сказал хошабский бей, выслушав Ибрагима.— Он ведь паша, османец. Как только узнает, что я приютил беглецов, сразу против меня выступит. Со всем своим войском. Но что делать? Придется по всем правилам посватать его дочь. Ничего не пожалею, лишь бы согласился он отдать ее за Ахмеда. Слово Шейха для меня закон. Голову сложу, а его воли не нарушу.

Хошабский бей похлопал в ладоши. И велел подбежавшим слугам:

— Накормите гостей и отведите их отдохнуть. Издалека приехали, притомились, верно, с дороги.

Как только Ахмед и Гюльбахар вышли, помрачнел, потемнел лицом хошабский бей. Глаза затуманились, даже волосы светлые как бы потускнели.

— Ибрагим,— говорит,— конечно, Шейхово слово для меня закон. Но лучше бы уладить это по-мирному. Будь это не Махмуд-хан, а кто другой, поехал бы к нему сам, попросил: «Уважь меня, отдай свою дочь Гюльбахар за сына нашего Ахмеда».

Но паша меня и слушать не станет, еще в тюрьму упрячет. Этот гордец любит, чтобы все перед ним голову склоняли. Я ведь помню его еще по Стамбулу. Наши отцы были знакомы. Расскажи мне все по порядку, прикинем, как нам лучше поступить.

Выслушал бей рассказ Ибрагима, вздохнул глубоко:

— Дело-то, я вижу, мудреное. Очень даже мудреное. Взбесился, видно, паша. Попытается он выместить свою злобу на горцах и ванцах, а там и за нас примется. Полагаю, что он уже обратился за помощью к ванскому паше.

Весь вечер, всю ночь размышлял хошабский бей. А наутро послал за Ибрагимом.

— Вот что я решил. Обождем две-три недели, а потом я отправлю в Беязид Моллу Мухаммеда. Человек он угодительный, на язык бойкий, может, и сумеет уговорить Махмуд-хана. Хочется уладить мне это дело по-мирному. Ничего для этого не пожалею. Так и передай моему Шейху. Если надо, крепость свою отдам как выкуп за невесту. Но силе я не уступлю — пусть даже все османское войско против меня пойдет. Голову сложу, а забрать девушку не позволю. Так и передай моему Шейху. И еще передай ему мой нижайший поклон, поблагодари его за оказанное нам доверие. Целую его руки.

Ахмеду и Гюльбахар отвели комнату, предназначенную для самых именитых гостей,— светлую, высокую, просторную, мраморный пол алым паласом застлан, на стенах курдские ковры красоты необыкновенной, широкая кровать стеганым атласным одеялом прикрыта.

Освещена эта комната была серебряным светильником. Ароматические вещества, подмешанные в лампадное масло, распространяли густой дурманной запах.

Как подобает супруге, Гюльбахар почтительно ждала, пока Ахмед уляжется.

А он положил свой обнаженный меч посреди кровати. Глубоко зарылась золотая рукоять в мягкую пуховую подушку. Только потом лег.

Глядит Гюльбахар, ничего понять не может. И в Эрчише, и в Ване, где они останавливались на ночлег, он поступал точно так же, как бы желая сказать: мы с тобой брат и сестра, хоть

и спим в одной постели. Но какие же они брат и сестра? Еще тогда, в башне, отдалась она Ахмеду, женой его стала: боялась, что их встреча последняя. Почему же он кладет меч между ними?

Даже не поцеловал ее Ахмед, слова ласкового не молвил. А в сердце Гюльбахар пламя жаркое полыхает. В полном она недоумении. Уж не обидела ли она невзначай своего возлюбленного? Или же у горцев есть какой-то незнакомый ей обычай?

До самого утра промучилась без сна. Лежит и все думает: почему Ахмед так переменялся? Догадок-то много, а вот какая из них верная?

Волнуется Гюльбахар, с ума сходит. Вся, словно лук натянутый. Почему все-таки Ахмед так переменялся? Все время мрачный, задумчивый, холодный. Будто это и не он вовсе.

Наконец не выдержала, разбудила Ахмеда:

— Проснись! Я хочу задать тебе вопрос — один-единственный. Обещай, что ответишь прямо и честно, как сердце велит.

Ничего не ответил Ахмед.

Вот уж посветлели верхушки восточных гор, первые лучи скользнули по атласному одеялу.

— Почему ты положил меч между нами? — настойчиво допытывалась Гюльбахар. — Ведь я давно уже твоя жена. Слыханное ли это дело — от жены мечом отгораживаться? Или у вас, горцев, есть такой обычай? Отвечай, если любишь.

Молчит Ахмед.

— Отвечай.

Молчит Ахмед. Стыдно ему высказать ужасное подозрение, которое гложет его ум. Не только Гюльбахар — самого себя стыдно. Где уж тут вслух признаться!

— У нас-то такого обычая нет, — выдавил он в конце концов. — А вот в этих краях, у ванцев, так принято. Пока твой отец не даст своего согласия, я к тебе и прикоснуться не могу. Поэтому и кладу меч.

Не поверила Гюльбахар, но расспрашивать больше не стала. Догадывалась, что с Ахмедом, но, как и он, гнала от себя прочь эту догадку.

Проходили дни. Дочь паши хорошо видела, что Ахмед не в

себе, в душе у него какой-то червь угнездился. И выглядит он совсем плохо: глаза ввалились, прежний блеск потеряли, оловянными сделались.

Совсем измаялась Гюльбахар, придавило ее бремя непосильное. Померк для нее мир, в четырех стенах замкнулся. Как во сне скитается она по гарему, ничего не ест, не пьет, все думает, какое жестокое оскорбление ей нанесено.

Несколько раз в неделю Ахмед и хошабский бей выезжают на охоту. Домой они возвращаются, груженные дичью: козами, птицами, оленями. Лишь в эти дни Гюльбахар немного успокаивается — такую тоску нагоняет на нее присутствие Ахмеда.

А тот даже не решается взглянуть ей в лицо. Не только она — все замечают его уныние. Но приписывают его совсем другой причине.

— Не горюй, друг,— частенько говорит хошабский бей.— Даже если вся османская рать против меня выступит, все равно никто не помешает вашему счастью. Тебе оказывает покровительство сам Шейх. Ты мой гость. Чего же тебе опасаться? Держи голову выше.

Смущенно улыбается Ахмед, ничего не отвечает. Никому не понять, какая тоска сжигает его сердце. Даже Гюльбахар. Что-то она смутно чувствует, но понять не может.

Однажды утром, когда Ахмед с беem собирались на охоту, вернулся Молла Мухаммед.

Отвел его бей в свои покои, спрашивает:

— Какие вести, Мухаммед, хорошие ли, худые?

— Худые,— хмурится посланец, поглаживая белую ручьистую бороду.— Очень худые. Будто лютого врага встретил меня паша, чуть не зарубил. От кого угодно, говорит, ждал подобной подлости, только не от твоего бея. Передай ему, говорит, пусть свяжет одной веревкой Ахмеда и мою дочь и ко мне отправит. Дай ему, говорит, пятнадцать дней сроку. Не выполнит моей воли, пошлю против него своих аскеров. Так поносил тебя и Шейха — даже повторять стыдно.

— Неужто и Шейха бранил? Самого Шейха?!

— И его.

— Да он просто спятил, рехнулся!

Пораздумал хорошенько бей и вышел во двор. А там его, у самых дверей, Ахмед ждет. Ничего не сказал ему бей, сел на коня, и они отправились на охоту. Едут, а Ахмед все на него поглядывает: не скажет ли чего. На подъемном мосту бей держал своего коня, молвил Ахмеду:

— Этот человек просто спятил. Он осмеливается — и как только у него язык не отсохнет — проклинать самого Шейха! Небеса покарают его за такое святотатство!.. Грозится Махмуд-хан выслать против нас свое войско. Через пятнадцать дней.

— Не хочу, чтобы из-за нас лилась кровь,— отозвался Ахмед.— Отпусти нас, бей. Мы уедем.

— Никуда вы не поедете,— отрубил хошабский бей.— С тех пор как стоит эта крепость, еще ни перед одним врагом не открывались ее ворота. Пожалееет Махмуд-хан, что такое дело затеял. Ты нам все равно что сын. Живи себе спокойно, в свое удовольствие. Тут уж затронута моя честь, мне ее отстаивать.

Сказал — и пустил своего коня во весь скок. Ахмед следом помчался.

С того дня крепость стала готовиться к осаде. Со всех сторон: из южных степей, с Горы, с мушской равнины, с берегов Урмийе, из Вана, Битлиса, Диярбакыра — шли предложения о помощи, дружеские руки протянулись. Это очень радовало хошабского бея, льстило его самолюбию. Ну что ж, раз так угодно судьбе, еще раз померяется он силами с османцами. Научит их уважать обычаи, не посягать на достоинство бейское. Выполнит свой долг священный.

Как-то поутру часовые завидели вдали всадников на белых конях. Подскакали всадники к подъемному мосту, натянули поводья, остановились. Люди хошабского бея приняли у них коней, пригласили их войти в крепость.

Сам бей встретил их у внутренних ворот. Все они были люди, хорошо ему знакомые, вожди племен, которые жили в этих краях. Догадывался он и почему они пожаловали. Видимо, Махмуд-хан еще не готов к осаде крепости.

Разговор начал зиянский бей, красивый, горячего, удалого нрава молодой человек с орлиным носом и густым, низким — как из бочки — голосом.

— Зачем доводить дело до войны? Не лучше ли договориться по-доброму? Махмуд-хан собирает уже войско, скоро выступит. Нам удалось пока его удержать. Слово за тобой.

— Вы сами все понимаете не хуже меня,— ответил хошабский бей.— Не могу я выдать паше Ахмеда и Гюльбахар, не могу! Любое желание паша с удовольствием исполню, только не это. Если я нарушу закон гостеприимства, ни один пес — не то что человек — в мою сторону не посмотрит. Вечным позором запятнаю себя и свой род. Вы все люди умные, бывалые, вам и карты в руки, найдите какой-нибудь выход. А паше засвидетельствуйте глубочайшее мое почтение. Скажите, все сделаю, чего он ни пожелает. Все свое богатство пожертвую, жизнь отдам за него. Пусть только слово молвит — справлю его дочери свадьбу, каких свет не видывал, зятю несколько деревень подарю. Все сделаю, чего он пожелает. Одного не могу — нарушить закон гостеприимства.

— Все верно, даже возразить нечего,— сказал зиянский бей своим спутникам.— Напрасно мы сюда приехали.

— Совершенно напрасно,— поддержали его другие беи.— С таким предложением и обращаться неприлично. Стыд и срам! На другой же день сели они на коней и умчались прочь.

Махмуд-хан даже не сомневался, что его посланцы привезут с собой беглецов, обдумывал уже, какой лютой казни их предать. Никак не ожидал он отказа. Рассчитывал, что хошабский бей испугается его угрозы и выдаст Гюльбахар и Ахмеда. Кто бы мог подумать, что такие родовитые посланцы вернуться с пустыми руками?!

Когда паше рассказали о разговоре с хошабским беим, он просто взъярился. Вот до чего дело дошло — никто больше с османцами не считается. Будь у него достаточно сил, в тот же день, в тот же час выступил бы в поход, стер с лица земли эту проклятую хошабскую крепость. Но сил не хватало. Поэтому паша решил сначала списаться с Рюстем-пашой, что жил в Эрзруме.

Однако ярости своей Махмуд-хан не показал: при беях подбало вести себя сдержанно.

— Извини, паша, но, по нашему мнению, хошабский бей прав,— заявил зиянский бей.— Закон гостеприимства нерушим. Надо поискать другой выход.

Махмуд-хан промолчал.

В тот же день он устроил в мраморном зале пышное пиршество в честь высокородных гостей. Народу собралось очень много, с трудом все вместились.

Наутро Махмуд-хан отправил послание эрзрумскому паше. Это был важный вельможа, любимец падишаха. Долгие годы провел во дворце, был знаком с великими визирями. Поддержит его эрзрумский паша, одолеть хошабского бей — дело нехитрое.

В своем послании Махмуд-хан подробно описывал, как с гор, точно стаи волков, спустились несметные полчища, как они ворвались в крепость и увели с собой его дочь. «Что можно сделать с горсткой аскеров против такой орды?» — горько жаловался он, желая пробудить сочувствие своего вельможного друга, но вышло наоборот.

Вернувшийся гонец доложил, что Рюстем-паша обмирал от хохота, читая его письмо. Держался руками за живот и заставлял снова и снова рассказывать о том, что случилось в тот злополучный день.

— Передай мой поклон Махмуд-хану,— сказал он, вдосталь нахохотавшись.— Советую ему отдать свою дочь за этого молодца! Он ее вполне заслужил. Так же как и коня. А я напишу ему потом.

С возмущением и гневом читал Махмуд-хан ответное послание: Рюстем-паша собственноручно написал его своим красивым почерком.

— Этот подлец, сын подлеца, смеет еще надо мной насмехаться,— скрежетал он зубами.— Хотел бы я поглядеть, как бы он вел себя, если бы его дочь похитил какой-нибудь худородный горец! Ишь ведь что пишет, пес паршивый: «Неужели из-за какой-то девицы, пусть даже это твоя дочь родная, ты затеешь войну против всего мира?» А я-то считал его своим другом, принимал будто самого падишаха. Позавидовал он,

видно, роскоши моего дворца. Вот и мстит мне.

Эх, отрядить бы своих аскеров против хошабского бея, подумал Махмуд-хан. Да только страшно потерпеть поражение от этого волка горного. С тех пор как стоит крепость, еще никто не мог взять ее приступом.

И так и этак прикидывает Махмуд-хан, голову ломает. Каждый день призывает к себе Ибрагима-ага, верных беев, часами с ними советуется, но никак не может прийти к определенному решению.

А меж тем наведывается к нему Молла Мухаммед. Говорит — будто медом по губам мажет:

— Мы твои преданные слуги, паша. Бей просит войти в его положение. Если он выдаст беглецов, ни одна собака не взглянет в его сторону. На весь род позор несмываемый. Если хочешь, он сам даст любое приданое твоей дочери. Для тебя, паша, он и жизни не пожалеет. И Ахмед ради тебя умереть готов. Просит передать тебе бей, что целует твои руки.

Хошабский бей следил за каждым шагом Махмуд-хана. Знал, что он обращался за помощью к эрзрумскому паше и ванскому паше, к влиятельным и мелким беям, даже к самому падишаху. Рано ли, поздно этот безмозглый, упрямый человек вышлет против него своих аскеров. Начнется долгая, на годы, война. Снова будут умирать голодные люди. И все это из-за похищенной девушки. Какой недоумок бей среди каких недоумков завел этот дурацкий обычай?!

Паша, однако, медлил. И это промедление обращалось против него.

Народ поговаривал, что не случайно из всех горцев-йигитов конь выбрал именно Ахмеда, толковал о великой их с Гюльбахар любви и о том, что Мемо пожертвовал собой ради их счастья. Все боготворили возлюбленных. Что, если однажды ночью с Горы и с равнины снова хлынут скопища несметные?— думал паша. На этот раз они не оставят камня на камне от его дворца. Ни одна живая душа не спасется.

Страх не отпускал пашу ни на миг. По ночам он никак не мог уснуть. При малейшем шорохе вскакивал и с мечом наголо,

словно лунатик, бродил по дворцу.

И все же он не мог ничего придумать. Ведь на карту поставлена не только его честь, но и честь всех османцев. Стоит сплеховать перед ничтожным хошабским беём — опозорится вся огромная Османская империя.

Затосковал паша. Прячется от всех, ни с кем не разговаривает. Железным обручем стиснуло его сердце отчаяние.

Каждый год, в пору весны, все чобаны Горы собираются на берегах Кюп-гёля. Расстилают свои бурки на медноцветной земле, на красных кремневых камнях и усаживаются. Иногда их больше, иногда меньше — год на год не приходится. Когда небо на востоке светлеет, они достают из-за кушаков кавалы и начинают играть «Гнев Горы». Весь день играют. Лишь вечером, на закате, убирают кавалы и все разом встают. Тут-то и подлетает белая птица. Окунет одно крыло в озерную синь и улетает. Вдалеке среди плывущих, как корабли, скал, в море снегов показывается видение — большой белый конь со сверкающей сбруей. Тяжко дыша, проскальзывает он над озером и быстро удаляется.

Чобаны расходятся. В дальнем шатре певец опускается на звонкую, певучую весеннюю землю и с посохом в руках, под аккомпанемент кавалджи затягивает длинную песнь.

*В ахурийской долине преклонил я колени. Над землю древней любви склонился. Над землю древней весны склонился. Трижды издал свой клич. И трижды откликнулась мне Гора. Среди алых, желтых и синих цветов, среди зеленой травы преклонил я колени. Под небом, усыпанным звездной росой, преклонил я колени. Склонился над снежной грудью Горы. Восславил гордое сиянье Горы, чье сердце открыто для великой любви. Песнь завел о гневе ее необоримом. Под темными тучами, среди ароматов дурманных, преклонил я колени. Огненный хлынул поток, и среди огня преклонил я колени. Трижды издал свой клич, землю древней любви огласил, землю древней весны огласил, к сердцу ее воззвал. «Где ты,— я крикнул,— чобан?» И предстал предо мной чобан.*

*Бейскую дочь полюбил чобан. И она полюбила его. Богат*

был отец ее, бей. Пятнадцать деревень у него — и все в ахурийской долине. Узнал он об их любви, в ярость великую пришел. «Схватите этого чобана! — велел. — Схватите наглеца, что посмел полюбить мою дочь! Схватите его, живого или мертвого!»

Вспыхнула птица любви, запылала, птицей огненной стала. Села на тополь, огненное гнездо себе свила, трех огненных птенцов вывела и полетела со всем своим выводком. Где ни промчится, где ни сядет, — сразу пожар занимается. Небо полыхает, звезды полыхают. Горы полыхают, земля полыхает. Пламенем люди объята.

Через горы, через моря перелетает птица, следом огненная буря мчится. Распускаются огненные цветы под ее дыханием. Желтый огонь, и синий огонь, и зеленый огонь.

Спрятался чобан на Горе. Пятнадцать деревень его ищут. Каждую расселину, каждую расщелину оглядывают, чобана отыскать не могут. Так и не нашли. В огненный столп обратился чобан. Приютила Гора его в чреве своем.

Пылает, горит его любимая. Жжет ее пламя любви. Убежала и она на Гору. Пятнадцать деревень ее ищут. Каждую расселину, каждую расщелину оглядывают. Да так и не нашли. В огненный столп обратилась девушка. Приютила Гора ее в чреве своем.

А чобан все тоскует по ней. Сил нет сносить такую муку. Попросил он однажды Гору: «Выпусти меня. Дозволь хоть раз глянуть снова на любимую, а там и смерть не страшна!» Подошел к деревне, а войти боится. Три дня, три ночи бродил вокруг, наконец решился, зашел. А деревня пуста, только ветер гуляет. Во всех пятнадцати деревнях побывал. И везде только ветер гуляет. Наконец повстречал он свою возлюбленную — возле деревни родной.

Не прощает Гора жестокости. В ярости сбросила она громадный утес, погребла под ним все пятнадцать деревень. Грозен ее гнев необоримый.

Все сердца воспламеняет огненная птица любви. Гнездо ее — из огня.

Грозен необоримый гнев Горы. Неотвратима кара ее. Страх вселяют ее проклятья.

Каждой весной, когда расцветают цветы на берегах Кюпгёля, чобаны расстилают свои бурки на земле древней весны. И огненная птица погружает свое крыло в озерную синь.

В чем был, полуголый, подошел Хюсо к воротам крепости, кричит громко:

— Эй, паша! Слышал ли ты мелодию певца весны? Понял ли ты его предостережения? Обрушится на тебя гнев Горы. Обрушится кара ее грозная. Перестань преследовать возлюбленных.

— Приведите сюда кузнеца,— велел Махмуд-хан своим людям.— Что-то я плохо понимаю, что он там кричит.

Повернулись люди паши, чтобы выполнить его веление, а кузнец уже тут как тут. Стоит, будто исполин сказочный, сверху вниз на пашу смотрит. Обомлел Махмуд-хан.

— Слышал, что тебе пел певец?— спрашивает Хюсо.

— Слышал,— отвечает паша.

— И тебе не страшно?

Молчит паша, будто в рот воды набрал.

Высказал кузнец все, что хотел, повернулся и зашагал — будто скала огромная с места двинулась — к двери. И все приговаривал:

— Как знаешь, паша, как знаешь.

Только он ушел, говорит паше Исмаил-ага:

— Я хочу задать тебе один вопрос.

— Какой?

— Смог ли хоть один смертный подняться на вершину Горы?

— Нет.

— А возможно ли это вообще?

— Подняться-то еще можно. Но хватка у Горы крепкая: поймает — не отпустит.

Много смельчаков пробовали забраться на вершину. Но еще никому не удалось спуститься вниз.

Есть там, на самом верху, озеро огненное. Глубоким колодецем врезается оно в твердь земную. Оттуда-то и был добыт первый огонь. Только не сразу. Долгое время было так: пока Гора дремлет, зачерпнет какой-нибудь сын человеческий при-

горшню пламени — и бежать. Но Гора спит чутким сном. Проснувшись, она тотчас же хватает бегущего, обращает его в истукана каменного. Так он и стоит там, с каменным пламенем в руке.

На склонах Горы полным-полно таких истуканов. Еще никто — пробовал он похитить огонь или нет — не вернулся живым с вершины.

— Есть у меня одна мысль, мой паша,— говорит Исмаил-ага.

— Какая же?

— Сегодня же пошли гонца в хошабскую крепость. Пусть Гюльбахар и Ахмед возвращаются. Хочешь, я сам привезу их? А когда они прибудут, ты задашь Ахмеду такую задачу: пусть он взойдет на самую вершину. Сможет он выполнить твое условие, отдашь ему дочь. И сам свадьбу справишь. Так мы избавимся от Ахмеда. И никто не посмеет упрекнуть нас в несправедливости.

— Превосходная мысль,— обрадовался паша.— Умница, Исмаил. Возьми с собой несколько беев и отправляйся в Хошаб. Пусть они оба возвращаются. А если Ахмед не захочет принять наше предложение, скажи хошабскому бегу, чтобы прислал сюда мою дочь.

В сопровождении двоих беев и пятерых своих людей Исмаил-ага отправился в Хошаб.

Бей принял их с еще бóльшим, чем обычно, радушием. Почтил их пышным пиршеством. В тот же вечер Исмаил-ага передал ему слова паши.

— Но ведь это же верная смерть,— помрачнел хошабский бей.— Еще ни один человек не вернулся с вершины Горы.

— Не знаю, не знаю,— уклончиво пробормотал управитель Махмуд-хана.— Вы, помнится, обещали выполнить любое наше желание. Вот мы его и высказали. А уж там дело ваше.

Если Ахмед не примет это предложение, с хошабского бея слагается долг оборонять его. Это знал и Ахмед, и все остальные. Тогда паша был вправе выступить в поход.

Послали за Ахмедом. В присутствии Исмаила-ага и всех его людей бей спросил Ахмеда, подходит ли ему это предложение.

Ахмед не раздумывая ответил:

— Хорошо! Я взберусь на самую вершину и разведу там костер, чтобы паша мог сам видеть, что условие выполнено.

Ни хошабский бей, ни Гюльбахар, ни другие так и не сумели отговорить его.

На другой день они сели на коней и отправились в Беязид.

Остановились они у дома Караванного Шейха. Вскоре весь город знал об их возвращении. И вся Гора знала.

И Шейх, и кузнец настойчиво старались отговорить Ахмеда:

— Этот паша — кафир. Он задумал тебя извести.

Но Ахмед их не послушал.

Поцеловал он однажды утром руку Шейху, вскочил на коня и поскакал во дворец.

— Я решил взобраться на вершину Горы,— объявил он паше.— Благодарю тебя за то, что ты задал мне такую трудную задачу. Правильно ты поступил.

Пожелал ему паша удачи, а он отвечает:

— Три ночи следите за вершиной. Если не помешают облака, вы увидите костер.

И направил коня вверх по склону.

Все улицы города, рынок и площадь перед крепостью постепенно заполнялись людьми. Они сходили с Горы, поднимались с равнины, вливаясь в людское море, уже запрудившее все кругом.

В полдень к паше явился Исмаил-ага.

— Еще идут?— спросил Махмуд-хан.

— Идут,— ответил Исмаил-ага, безнадежно разводя руками.— Все идут и идут. Кто бы мог подумать, что на Горе и на равнине такое несметное множество людей!

Весь перекоксился паша, фыркнул:

— Нашел чему удивляться! Удивительно было бы, если б они собрались ради доброго дела. А на худое всегда много желающих. Как быстро они узнали, что этот молодец собирается подняться на гору! Кто это, любопытно, их оповестил? Неужто еще будут идти?

Он шагал по пушистым коврам, устилавшим пол мрамор-

ного зала. Лицо побледнело, вытянулось. Глубоко прорезались морщины. Глаза бешено вращались.

— Исмаил-ага,— выдавил он,— и наша... тоже там, с ними?

— Да. У гробницы Ахмеди Хани. Среди женщин. Посмотри сам. Вон она, в желтом платье.

Махмуд-хан замахал руками, отвернулся. Хотел было что-то сказать, но в последний миг передумал. Снова, глядя прямо перед собой, зашагал по залу. Исмаил-ага стоял не шевелясь, ожидая, не изволит ли он что-нибудь сказать. Ждать пришлось долго. Наконец паша остановился и вонзил пылающие, как уголья, глаза в своего главного советника и управителя.

— Исмаил-ага, мы ведь не можем рассеять эту толпу?

— Не можем. Казармы окружены со всех сторон. В самом дворце всего сто пятьдесят — двести аскеров. А тут и целое войско не справится.

— Не справится,— тяжело вздохнул паша.— Поди посмотри, не идут ли еще.

До самого вечера прибывали люди. Уже и весь город забит, и все кругом забито, даже склоны холма за гробницей Ахмеди Хани, а приток все не уменьшается: идут и идут люди. Шатры разбивают, костры разжигают. Запах жареного масла смешивается с запахом сухих трав и цветов.

Но вот что странно: вся эта огромная толпа хранит гробовое молчание, не движется, лишь легкое волнение пробегает по ней из края в край.

А вот уже и ночь. Спрашивает Махмуд-хан своего управителя:

— Все еще идут?

— Идут,— отвечает Исмаил-ага.— Просто уму непостижимо, сколько их! Как только земля не проваливается под их тяжестью!

— Почему же такая тишина?

— Никто не разговаривает.

— Все смотрят на Гору?

— Нет. Сидят с застывшими лицами, будто дремлют. Иногда даже чудится, что они все умерли.

В темном безоблачном небе висят неподвижные, словно при-

битые гвоздями, звезды. Бесчисленно это небесное воинство. А город по-прежнему погружен в безмолвие. Толпа как будто и не дышит.

Всю эту бессонную ночь Махмуд-хан ходил по дворцу и раздумывал. О жизни и смерти. Обо всем роде человеческом и об этой толпе, окружившей крепость. Казалось бы, их привело сюда только желание видеть двух молодых людей счастливыми. Но это не совсем так. В глубине их сердец — неприимимый гнев. Вековой протест против притеснения. Этот протест пока еще не вырвался наружу, но зреет, набирает силу. Судьба двух молодых людей — и сомненья нет — лишь случайный повод. Трудные времена настают, народ выходит из повиновения. «Сегодня захватят мой дворец, — думает паша, — а завтра окружают Стамбул, ворвутся в падишахский дворец. За поводом дело не станет. Не сумеем обуздать чернь — никому из нас не сносить головы. Завтра они будут вопить про «жестокий гнет», послезавтра — про «слишком большой налог». А там начнут возмущаться роскошью моего дворца, хлеба требовать. Смотришь, уже скопилась бесчисленная толпа, объятая тысячелетним гневом и болью. Безмолвно, неподвижно стоит она, но нет силы, способной с нею справиться. Никакому войску ее не разогнать. Главное — не допустить, чтобы толпа собралась».

В чистом, словно вымытом, безоблачном небе блеснуло утреннее солнышко. Вкатилось на склон Горы, приподнялось, снова опустилось и лишь после стало быстро подниматься. Никогда в жизни Махмуд-хан не видел подобного зрелища.

«Дурное предзнаменование, — испугался он. — Уж не близится ли конец света?»

Покинув улей, пчелы долго летают по воздуху, затем всемо облепляют какую-нибудь ветку. В то утро город походил на такую ветку, облепленную пчелами. Повсюду, куда ни глянь, стоят высокие усачи в накидках из козьих, оленьих, жеребьчих шкур, в остроконечных войлочных шапках, стоят женщины с большими газельими глазами, с тонкими руками — оде-

ты они в разноцветные платья, на головах — платки, на груди — золотые, серебряные мониста.

В полдень взволновалась толпа. Все, как по приказу, повернулись к Горе, подняли глаза на ее вершину. Так и застыли. Никто ни слова.

Увидел это в окно Махмуд-хан, задрожал.

— Почему они молчат, Исмаил-ага?

— Кто их знает? Молчат. Лишь иногда воздевают руки и молятся.

«Вот так они будут стоять три дня,— пронеслось в голове у Махмуд-хана.— А на четвертый, если не увидят костра, упадут на мой дворец, разрушат его до основания. А костра они, конечно, не увидят. Но, может быть, дело обстоит не столь плохо? Просто у меня слишком разыгралось воображение?»

— Еще идут, Исмаил-ага?

— Все идут и идут. И откуда только берется такое несметное множество? Хотел бы я знать, кто за их спиной?

— Кто же, как не этот нечестивец, не признающий Аллаха,— Караванный Шейх,— вскричал паша.— Они, эти шейхи, всегда были нашими врагами. Если не переманить их на нашу сторону, мы пропадем, Исмаил-ага, все пропадем! В народе у них корни глубокие. Тысячелетние корни. И если мы не сумеем договориться с ними,— тут он показал в окно на толпу,— так оно и будет, Исмаил-ага!

— Мы можем договориться с ними в любую минуту, мой паша.

Замолчал паша, думает:

«Что, если мне сейчас уехать со всеми моими женами, детьми, придворными и слугами? Но ведь это может быть воспринято как трусость. Упаси бог, падишахский двор узнает. Да и как бежать, когда дворец окружен со всех четырех сторон? Проложить себе дорогу мечом? Возможно ли это?»

— Только бы мне вырваться отсюда,— заговорил он вслух,— всем отрублю головы — и Шейху, и хошабскому бею, всем, всем. Это они виноваты. Отрублю им головы, Исмаил-ага. Вот увидишь, отрублю.

Разгорячился паша. Жилы на его горле набухли. Кричит, во-

пит, все никак не может успокоиться. Остыл наконец чуточку, но все повторяет:

— Отрублю им головы. Отрублю. Отрублю. Только бы вырваться отсюда.

Исмаил-ага стоит — спиной к розовой колонне привалился — ждет, пока гнев паши поуляжется.

— И певцы, и кавалджи пришли, Исмаил-ага?— спрашивает Махмуд-хан.

— Тут их целые сотни. И сотни барабанщиков. Все готовятся праздновать свадьбу,— отвечает Исмаил-ага.

— Иншаллах, загорится костер на вершине... Не то...— недоговорил паша: стыдно ему стало, что не смог утаить страх. Попробовал было сменить разговор, но осекся, поник головой — и молчит.

Понял Исмаил-ага, что паша раскаивается. А главный советник был человек прямой и откровенный.

— Послушай, паша,— говорит,— нам ли скрывать правду друг от друга! Если эта толпа не увидит костра на вершине, дворец сровняют с землей, а нас всех перебьют. Один только есть способ предотвратить это.

— Какой же, Исмаил-ага?— нетерпеливо спрашивает Махмуд-хан.

— Откажись от своего желания! Выйди к воротам дворца и объяви, что отказываешься от своего желания. Раз, мол, столько народу желает счастья моей дочери и ее жениху, не могу, скажи, противиться общей воле. Верните, скажи, Ахмеда, и я сам устрою им свадьбу. Народ будет носить тебя на руках. Тебя будут почитать чуть ли не наравне с Аллахом. Другого выхода нет.

— Не могу, Исмаил-ага. Все подумают, что я испугался.

— Ничего подобного. Плохо ты знаешь народ. Он предполагает во всех только добрые намерения. Подозревать дурное ему несвойственно.

— Ошибаешься, Исмаил-ага. Народ умен, его так просто не проведешь.

— И все-таки послушай меня, паша. Эти люди не хотят разрушать дворец, знают, что могут поплатиться за это своей

головой, но они вынуждены будут это сделать, вынуждены будут убить нас, потому что мы не оставим им никакого другого выхода. Может быть, Ахмед уже погиб? Может быть, его поглотила Гора?

— Ты прав, Исмаил-ага, но как мне отречься от своего слова.

— Пойми же — они тоже напуганы. И только обрадуются, если ты переменишь свое решение. Им и в голову не придет, что мы уступили из страха. Напротив, они будут чтить тебя как святого. Будут возносить твою доброту до небес, складывать дастаны в твою честь.

— Не могу, Исмаил-ага. Легче умереть... Но... но что, если он сумеет добраться до вершины и мы увидим сегодня пламя костра?

— На это нет никакой надежды!— говорит Исмаил-ага.— Гора превратит его в каменного истукана.

— Шейх обладает чудодейственной силой.

— Гора не подвластна его чудодейственной силе, никому не позволит нарушить целомудрие своей вершины.

— Но может быть, Ахмед сложит костер где-нибудь пониже?

Исмаил-ага погладил бороду. Улыбнулся, потер руки.

— Ахмед — йигит,— сказал он.— Только смерть может остановить его — больше ничто!

— И я не отступлюсь от своего слова, Исмаил-ага. Паду с мечом в руке. Скажи моим аскерам, чтобы приготовились к последнему сражению. Постарайся привести сюда и тех, что в казарме.

— Никакого сражения не будет, паша,— сказал Исмаил-ага.— Я знаю, как бывает в таких случаях. Нас просто разорвут на клочки, всех до единого.

— Ну и пусть!— проревел паша.— Передай мое повеление аскерам.

Исмаил-ага понял, что возражать бесполезно, склонился и вышел.

Уже начинало темнеть. Вся равнина внизу была затоплена людьми. Кое-где звездами пылали костры. А толпа все прибывала и прибывала.

Как только пала ночь, все поднялись на ноги и вперили взгляды в вершину Горы. Одним большим сердцем бьются их сердца. Словно утренней зари, ждут они условленного знака.

Томится в ожидании и Махмуд-хан. И он тоже — как и те, на равнине, — мечтает о чуде.

В полночь запели петухи. Тьма стоит непроглядная — лишь вокруг вершины Горы слабо светятся гроздьи звезд. Но вот посветлел восток. В голубых небесах мелькнула утренняя звезда. Странная, похожая на маленький месяц.

В зал — весь потный от волнения — ворвался Исмаил-ага.

— Многие из этих людей уже повернулись к дворцу, — доложил он. — Они начинают роптать.

Одна рука Махмуд-хана — уже в который раз — потянулась к мечу, другая — к отделанному золотом пистолету с рукояткой из слоновой кости. Но его налившиеся кровью глаза по-прежнему сверлили темноту.

— Надо уступить, паша. Другого выхода нет.

Тяжелыми шагами, вразвалку, бледный Махмуд-хан направился к воротам дворца. Около мечети хотел было задержаться, но ноги сами понесли его дальше. Как только он вышел из больших арочных ворот, расписанных прекрасными сельджукскими письменами, его сразу же заметили. Ропот умолк. Все замерли, будто перестали дышать. Махмуд-хан долго смотрел на волнующееся людское море. Затем взошел на земляной вал и громогласно объявил:

— Ради вас я прощаю Ахмеда. И сам устрою его свадьбу с моей дочерью. Ведь вы все этого хотите, не так ли? Сейчас же пошлю за ним своих людей. Если среди вас есть юноши, быстрые на ногу, искусные наездники, — пусть тоже отправляются. Передайте ему, что я его простил. Он может спокойно вернуться.

Глухо загудела толпа. Покачнулась из края в край, напряглась, словно лук, изготовленный к стрельбе. Но паша не подал и виду, что в душе у него гнездится страх. Сошел с земляного вала и направился к воротам дворца. Толпа следовала за ним в трех шагах, остановилась лишь у самых ворот.

Не успел паша зайти за крепостную стену, как скороходы

уже отправились в путь, понеслись-полетели конники за Ахмедом.

Успокоились чуть-чуть люди, разговаривать начали. Загудел Беязид как потревоженный улей. Кто стоит, кто лениво разгуливает под лучами солнца. И никто не знает, чем себя занять.

Встал кузнец Хюсо на площади, говорит громко:

— Наконец-то образумился кафир. Пронял его, видно, страх. Испугался, что разнесут его роскошный дворец на куски. Вот и пошел на попятную.

Все смотрели на него восхищенными глазами.

— Если бы мы всегда держались вот так, вместе,— продолжает он,— никто не смог бы с нами справиться, только зубы обломал бы. Ни горы, ни шахи не устояли бы против нас. В единстве наша сила.

За его спиной шушукались дворцовые прихлебатели. Только и слышалось:

— Ты же огнепоклонник, враг истинной веры. Тебе-то что, едины мы или не едины.

В ожидании вестей с Горы люди то поднимались с равнины в город, то шли обратно. Некоторые уже возвращались в свои деревни. И таких было все больше. Гнев быстро остывал.

Миновала ночь, наступил день. Притихший было, глухой, словно из-под земли доносившийся, ропот усилился. Лишь некоторые любопытные еще посматривали на вершину Горы. Каждые полчаса, час подходил к окну и Махмуд-хан. Только кузнец не отрывал взгляда от Горы.

— Да помогут ему Огонь и все святые!— молился он.— Да пощадит его Гора, да возвратит его целым и невредимым!

Еще один день позади. Наступила последняя ночь. И вдруг пушечным громом загрохотал голос кузнеца. Подхватило его эхо — понесло по склонам. Пошатнулась, задрожала Гора. Заходили ходуном, загудели долины.

Подняли все глаза — и увидели на самой вершине огонек: он то гас, то снова разгорался.

Обрадовались все, закричали, лица счастливые, сияющие. Заиграли барабаны и зурны. Девушки и парни стали парами,

приготовились танцевать гёвэнд. Еще до возвращения жениха началось свадебное празднество.

— Стало быть, Ахмед жив,— сказал Махмуд-хан в своем дворце.— Гора почему-то его пощадила.

— Ахмед — горец, свой человек для Горы,— отозвался Исмаил-ага.

— Нет, причина не в этом. Тут кроется что-то непонятное.

Утром — весь в поту — прискакал Ахмед. Хотел было войти в крепость, но толпа его не пустила — отвела в кузню Хюсо. Ахмед поцеловал ему руку.

— Тебя спасли святые. Да помогают они тебе и впредь!— сказал кузнец и благословил его, осыпав с ног до головы искрами.

Тут же в углу стояла Гюльбахар. Ахмед даже не взглянул в ее сторону. Дочь паши была очень огорчена и раздосадована. Почему он не подойдет к ней, не скажет несколько приветливых слов? Разлюбил ее? Зачем же тогда рисковал жизнью, разжег костер на вершине Горы? Гюльбахар начинала догадываться о причине его охлаждения. Нежность в ее сердце уступала место обиде.

Выйдя следом за Ахмедом, она сказала:

— Ну что же, пошли.

— Пошли,— откликнулся Ахмед.

Во дворец они даже не заглянули. Празднества в их честь не видели. Руку Караванному Шейху не поцеловали. Сели на коней и ускакали.

Есть на склоне Горы озерцо. Невелико оно, не больше тока молотильного. Цветом голубое-голубое. Каждый год, когда начинается победное шествие весны, здесь в предрасветный час собираются все чобаны. Расстилают свои бурки на обломках багряных скал, на медноцветной земле, садятся на землю древней любви, играют «Гнез Горы». Вечером прилетает белая птица, окунает крыло в озерную синь и скрывается. Затем к озерцу приближается тень огромного коня. И тут же тает. Как только забрезжит день, чобаны прячут кавалы за кушаки и расходятся.

Ахмед и Гюльбахар остановили коней около пещеры над Кюп-гёлем. Вверху и внизу стояло много шатров. Из их дверей струился слабый свет. Воздух был напоен резким дурманящим запахом — запахом осени. Казалось, будто это гниют яблоки. Глухо и невнятно шептались сухие травы и привядшие цветы.

Ахмед и Гюльбахар привязали коней к большому кусту. Ахмед достал кресало и высек огонь. Гюльбахар принесла несколько охапок валежника. Они разожгли костер и сели друг против друга. Ахмед достал из своей торбы хлеб и головку зеленого, приятно пахнущего сыра. Ели они молча, потупив глаза.

Когда костер начинал гаснуть, Гюльбахар приносила еще хворосту. Дым ел им глаза, но они не обращали на это никакого внимания.

Из дальней долины слышался грозный гул. Это было эхо обвалов. В любое время года с Горы срываются снежные или ледяные глыбы, и долины громким эхом откликаются на грохот их падения.

Гюльбахар сидела, уткнув подбородок в колени, испуганная и печальная. Вся подобралась, съежилась. Налетела буря, потянуло ледяным холодом. Затем немного потеплело.

Было уже за полночь, а они все сидели друг против друга, глаза на костер, и ни слова.

Все глубже и глубже пускал гнев корни в сердце Гюльбахар. Наконец не выдержала она, взорвалась:

— Говори же, Ахмед! Какую обиду ты затаил на меня? Говори же!

Ахмед широко открыл глаза от удивления. Он как будто увидел старую знакомую, с которой много лет не встречался, — такое у него было выражение лица.

Что ему ответить — он так и не знал. Но ответить было надо. Каждое слово Гюльбахар обжигало как пламя.

Ахмед устремил пристальный взгляд на ее лицо и заговорил, с трудом подбирая слова, медленно и невнятно, как умирающий:

— Какой ценой ты спасла меня, Гюльбахар? Что потребовал с тебя Мемо? Ведь он же знал — не мог не знать, что мое освобождение будет стоить ему жизни. И все-таки отпустил меня! Почему? Отвечай, Гюльбахар!

— Конечно же, он знал,— помолчав, сказала Гюльбахар.— Нигде в мире не прощают тюремщиков, отпускающих узников на волю. Это преступление карается смертью. И ни один народ не укроет того, кто его совершил. Все это знал Мемо. Вот почему он бился до конца, вот почему бросился в пропасть.

— Ты посулила ему много золота?

— Нет!

— Обещала подарить роскошный дворец?

— Нет!

— Чем же ты подкупила его? Почему он отдал жизнь ради моего спасения?

— Он ничего не требовал от меня. Ничего.

— Освободил меня просто так — за красивые глаза?

— Я предложила ему все, чего он захочет. Он ничего не захотел.

— Ты предложила ему все, чего он захочет?

— Да, но он ничего не захотел.

Воцарилось безмолвие. Огонь медленно гас. Гюльбахар поняла, что все кончено. Ахмед не простит ее. И ничто не сможет рассеять его подозрения.

Ахмед вытащил чепрак из-под седла и постелил посреди пещеры на траву. Бросил под голову охапку пахучего вереска, положил рядом обнаженный меч — при свете костра от него летели алые искры — и лег, укрывшись чепраком.

Гюльбахар принесла еще охапку сушняка. Подбросила в костер. Высоко взметнулось пламя. Снова и снова всматривалась она в лицо Ахмеда — с восхищением, с обожанием, — никак не могла налюбоваться. Все сильнее терзала ее любовь. И все сильнее становилось отчаяние. «Все кончено, все кончено», — мысленно повторяла она. Боль тупым ножом резала ее сердце. И она не знала, что делать, куда пойти, у кого попросить приюта. И все сильнее терзала ее любовь. Это ли не настоящая любовь?! Неужто было бы лучше, если б он умер на плахе... А Мемо?..

Гюльбахар, спотыкаясь, вышла из пещеры. Звезды, кружась, падали на склоны Горы и тотчас же взмывали. Гора то поднималась, то опускалась, а то начинала кружиться вместе со

звездами в одном хороводе. И вдруг она с ужасающим шумом опрокинулась.

Набрав еще немного хворосту, Гюльбахар вернулась в пещеру. При свете костра она долго смотрела на Ахмеда. Все красивее становилось его лицо, и она явственно читала на нем прежнюю любовь.

Спит ли он? Погружен ли в мечты? Или же просто измучен до последней крайности? Гюльбахар задышалась.

Все красивее и красивее становилось его лицо. И все краснее языки пламени.

И вдруг мир закружился вокруг нее. С оглушительными стонами закачались скалы. Заметались звезды снаружи. Все вокруг, казалось, было охвачено безумием. Уж не начинается ли светопреставление? — испугалась Гюльбахар. И тут же наступила полная тьма, только лицо Ахмеда сияло с прежней яркостью.

Гюльбахар выхватила кинжал и стала яростно разить им куда попало. Разила и разила, пока не устала рука...

Когда она открыла глаза, уже светало. Теплый ветер разносил острые запахи. На камнях перед собой она увидела Ахмеда. И бросилась к нему с криком:

— Ахмед! Ахмед! Не покидай меня, Ахмед!

Вся Гора ответила на ее зов. Задрожала, затрепетала до самых глубин своих подземных. Покатились снежные лавины.

Бежит что есть мочи Гюльбахар — Ахмед от нее удаляется. Станет — все равно удаляется Ахмед. И вот уже перед ними — Кюп-гёль. И тут Ахмед исчез — как провалился. Села Гюльбахар на медноцветную землю, обхватила голову руками и смотрит на озеро — голубое-голубое.

Иногда в воде мелькает Ахмед, и тогда, широко разведя руки, Гюльбахар кидается к нему, кричит: «Ахмед! Ахмед!» Вся Гора откликается на ее зов. «Ахмед! Ахмед! — рыдает Гюльбахар. — Будь ты на моем месте, и ты точно так же поступил бы! Хватит тебе прятаться — вернись ко мне!»

Вскипает озерцо. Исчезает Ахмед. Нет и Гюльбахар. Белая птица окунает крыло в озерную синь. А затем мимо проносится черная тень исполинского коня.

Каждый год с наступлением весны, когда все кругом начинает цвести и петь, на берегах Кюп-гёля собираются чобаны со всей Горы. Они расстилают свои бурки на медноцветной земле, усаживаются на земле древней любви и, как только блеснет утренняя заря, начинают играть «Гнев Горы». А на закате — белая птица...

## Белые брюки

Ну и жарница! Мустафа взмок от пота. Рваный башмак, с которым он возился, так и остался недошитым. Бог весть о чем размышлялся парнишка. А снаружи солнце во всю мочь палит разбитую мостовую уездного городишка. В густой тени старого инжирного дерева с мясистой листвой, у грязного дувала, вывалив длинный язык, дремлет собака. Мустафа безучастно, из-под отяжелевших век, уставился на дрыхнущего пса. И до того парню плевать на все, что вот-вот башмак из рук выпадет. Но краешком глаза Мустафа нет-нет да и покосится на мастера: не заметил бы, что он бездельничает. Но тот, как всегда, погружен в работу.

Мустафа кладет башмак на сложную лапу, кое-как вколачивает гвоздь и принимается за рваный задник. Но на душе так тошно, что все валится из рук.

С тех пор как он начал сапожничать, впервые приходится ему возиться с такой рванью. Живого места нет, сплошные дыры. Ума не приложит парень, с какой стороны приняться за дело. Наконец он не выдерживает:

— Не справиться мне, хозяин, с этими башмаками.

Мастер поднял голову и смотрит на ученика так, словно видит его впервые.

— Как это не справиться?— говорит.— Ты мне эти разговорчики брось!

— Не получается у меня, хозяин. Расползается все.

— А ты постарайся. Должно получиться.

До самого вечера провозился парень с парой стоптанных башмаков. Шил, порол, опять шил, опять порол. Так ничего и не вышло. Только весь вспотел.

Густая тень инжирного дерева протянулась прямо на восток. Солнце с ленцой ползло по склону западного холма. В этот час в мастерскую заглянул приятель сапожника — богатый Хасан-бей. Сапожник обменялся с ним шутивными приветствиями. Хасан-бей деловито ощупал взглядом парнишку, занятого работой. Потом обратился к мастеру:

— Не уступишь ли мне его на три дня? Пусть поработает на обжиге кирпича.

— Будешь работать, Мустафа? — спросил хозяин. — Хасан-амджа\* печь для кирпича сложил.

— На трое суток, — уточнил Хасан-бей. — Плачу поденно — полторы лиры в день. Старшим будет Джумали из махалле Саврун. Человек он хороший, не обидит тебя.

Мустафа рад-радехонек.

— Хорошо, Хасан-амджа. Только вот у мамы отпрошусь.

— Отпросись, отпросись, — снисходительно роняет Хасан-бей. — А завтра приходи в наш сад. После полудня приступишь к работе. Меня там не будет. Сам обо всем договоришься с Джумали.

Сапожник платит Мустафе двадцать пять курушей в неделю. За месяц работы — одна лира. А летние туфли стоят две лиры. Белые брюки — три лиры. Всего пять лир. Сейчас уже июль. Значит, за июль, август, сентябрь наберется всего три лиры. Не обзавестись ему летними туфлями и белыми брюками!

Спасибо Хасан-бею! Второго такого замечательного человека нет во всем городе. Шутка ли — полторы лиры в день! За три дня — четыре с половиной.

И вот как оно все будет. Сначала он вымоет руки. Хорошенечко, с мылом. Потом тихо-о-онечко развернет бумагу и вытащит белоснежные парусиновые туфли. Потом вымоет ноги, тоже с мылом. Носки белые аккуратненько натянет, сунет ноги в белые, хрустящие, новехонькие туфли. А вот брюк даже нельзя касаться руками. Каждый дурак знает, что белую

\* Дядюшка, почтительное обращение.

жвачку нельзя хватать — сразу запачкается. Точно так же и белые брюки.

А у самого моста гуляют девушки. Ветер раздувает им юбки, прилепил к ногам белые шароварчики.

Мустафа к матери кинулся.

— Мамулечка! Родненькая! Я с Джумали буду кирпичи обжигать для Хасан-бея.

— Нет!

Мустафа опешил.

— Почему это нет?

— Ты когда-нибудь кирпич обжигал? Знаешь, что это такое? Три дня, три ночи не спать — выдержишь?

— Выдержу!

— Одна я только и знаю, чего стоит добудиться тебя по утрам. Выдержишь, как же!

— По утрам — это другое дело. Мам, ну пожалуйста.

— И не проси.

— Увидишь, я совсем спать не захочу.

— Уснешь как миленький. Не выдержишь.

— Ма-а-ам! Хорошая моя! Вот ведь Сами, сын Тевфик-бея...

— Э-э-э,— тянет раздраженно мать.

Мустафа отлично знает слабую сторону матери.

— Так вот, Сами носит брюки белые-белые. Как молоко. И туфли на резине...

— Э-э-э...

— Ой, до чего же красивые! Белые-белые. Как молоко. Нет, как снег. А у меня есть шелковый жилет. Думаешь, не подойдет он к белым брюкам? Еще как подойдет!

Мать склонила голову, побледнела.

— Что ж не отвечаешь? — настаивает сын. — Не пойдет мне такой наряд? И ты не бойся, не испачкаю его... Три дня и три ночи всего придется попотеть! Зато как только деньги получу, пойду к Вайысу-уста, портному. А у Хаджи Мехмеда куплю белые туфли на резине. Шелковый жилет — в сундуке.

Мать подняла голову. В глазах — непролитые слезы. Медленно приблизилась к сыну.

— Мальчик мой дорогой. Разве я говорю, что не к лицу тебе такая одежда?

— Вайыс-уста — замечательный портной. Шьет прочно и хорошо. Мамочка, родненькая, так можно я пойду?

Мать невольно улыбнулась.

— Делай что хочешь, сынок. Мое дело — сторона.

Едва она произнесла эти слова, как Мустафа высоко подпрыгнул, кубарем из одного угла в другой прошелся.

Бросился к матери, расцеловал ее.

— Мамочка, когда я вырасту...

— Когда ты вырастешь, будешь много, много работать.

— Ну да, а еще?

— Еще разобьешь сад на участке возле речки. Закажешь темно-синий костюм в Адане. Заведешь лошадь. Сядешь верхом...

— А потом?

— Покроешь крышу черепицей, чтобы больше не протекала.

— А потом?

— Станешь как отец.

— А если бы отец был жив?

— Ты пошел бы в высшую школу. Учился бы и стал большим, большим человеком.

— А теперь?..

— Если бы твой отец был жив...

— Послушай, — перебил ее Мустафа. — У меня будут золотые часы, когда я вырасту. Правда ведь?

Мустафа проснулся еще до рассвета. Печь для обжига кирпича находилась в саду зубного врача. Отправился в путь. Изпод его башмаков маленькими фонтанчиками взметывалась пыль.

Из-за холма на востоке неудержимо нарастающим селом хлынул влажный солнечный свет. Пока мальчишка добирался до печи, солнце уже, ярко пылая, расселось на вершине холма. Роса высохла.

Мустафа пригнулся, заглянул в распахнутую пасть печи. Там, внутри, темным-темно. Рядом с печью — гора сушняка. До полудня бродил мальчик вокруг. Предвкушение великого

счастья — обладания белыми брюками — омрачал только страх перед тремя бессонными ночами.

Ровно в полдень, весь в пыли и потный, появился Джумали. Здоровенный детина, он всякий раз, прежде чем сделать шаг, словно бы выбирал место, куда поставить ножищу. Невдалеке от печи остановился. При виде такого великана мальчик вовсе оторопел. Джумали, все так же грузно ступая, приблизился к печному зеву, с трудом согнулся. Лицо у него злобное, на своего напарника он даже и не посмотрел. Долго стоял, согнувшись в три погибели, сунув голову в печь. Потом выпрямился, сделал в сторону мальчика пару шагов и, не глядя ему в лицо, спросил:

— Чего это ты здесь околачиваешься?

— Ничего,— пролепетал в ответ Мустафа.

А внутри так все и зашлось от ужаса: беги, беги, пока не поздно!.. Но он совладал с собой, поднял лицо.

— Нечего тебе тут делать. Катись отсюда.

— Мне Хасан-бей велел прийти. Вам в помощь, дяденька.

Джумали с неожиданной при его медлительности прытью крутанулся на месте и, стоя спиной к мальчику, раздраженно бросил:

— Да он совсем рехнулся, этот твой Хасан-бей! Доверить обжиг кирпичей такому заморышу ростом с мою руку!— И, повернувшись к Мустафе:— Эй ты, недоносок, кирпичи-то знаешь, как обжигают?

— Знаю.

— Три дня и три ночи, сукин сын...

— Знаю.

— Где ж ты этому научился? У матери в утробе, что ли? Выдержишь три ночи без сна?

Мустафа молчит.

— Вот что я тебе скажу, парень, эта работенка не про тебя. И меня под беду не подводи. Видишь эту топку? Трое суток огонь должен пылать не угасая. А тебе придется трое суток, глаз не смыкая, хворост таскать. Два часа я, два часа ты... Иди лучше к мамаше своей, а Хасан-бею скажи, что не сможешь работать на обжиге. Пусть вместо тебя кого другого пришлет.

Мустафа потоптался на месте, против воли сделал несколько шагов в сторону касаба\*. Ноги не слушались его. И тут перед его мысленным взором возникли белоснежные брюки — а, будь, что будет, лишь бы иметь это чудо! Облака — белые, белье после стирки — белое, хлопковые кипы — белые. Белизна обступила мальчишку, заполнила все пространство. Горло жгутом перехватили слезы. Если б не удержался, так хлынули бы неудержимым потоком. Мягким, заискивающим тоном он принялся увещевать своего напарника:

— Дяденька Джумали, я буду не хуже любого взрослого работать. И спать не буду.— И пошел на отчаянную хитрость:— Хасан-бей все равно отошлет меня обратно, он ведь мне уже отдал деньги. Я купил себе туфли на резине и белые брюки. Дяденька Джумали...

Здоровяк свирепеет:

— У-у-уходи, сопляк! Не навлекай беду на мою голову!

Но и Мустафа начинает сердиться.

— Ты почему не даешь мне на хлеб заработать? Ребенок, говоришь? Я что, меньше других работаю? И деньги я уже получил вперед. Если я сейчас приду к Хасан-бею, он меня все равно обратно пошлет.

— Вот как?

— Да. Наличными расплатился он со мной.

— Тогда начнем. Но если уснешь, я тебе покажу!

Мустафа подбежал к Джумали, весь светится от радости, ухватил его за правую ручищу.

— Я так буду стараться. Так, так стараться. Увидите. Я уже заказал себе белые штаны у Вайыса-уста. Он мне обещал красиво пошить... И вы тоже получили наличными? Увидите, увидите, как я буду работать.

Вкрадчиво, почти ласковым тоном Джумали отозвался:

— Ну, это мы посмотрим. Ей-богу, ты, парень, какой-то ненормальный.

Джумали с помощью Мустафы притащил кусок соснового корневища, запалил его и бросил в топку. Немного погодя суш-

\* Административный центр уезда.

няк внутри стал потрескивать. Неожиданно занялось сильное пламя. Из распахнутой печной пасти, величиной с обычное окно, полезли наружу длинные светло-морковного цвета языки.

Джумали ругнулся:

— Педик несчастный! Кто же столько хвороста запикивает в топку поначалу!

Он поставил мальчишку перед собой. Долго и обстоятельно растолковывал, как, когда и сколько хвороста надо класть в печь. Объяснения перемежал отборной бранью. Постепенно огненные языки стали укорачиваться. Они уже не обдавали жаром все вокруг, а как бы втянулись в печную пасть. Внутри стало темно, как в пещере. Мустафа, не спрашивая Джумали, приволок охапку сушняка и сунул внутрь. И еще одну охапку приволок. А полдень плескал потоки зноя на пыльный проселок, на большие смоковницы с мясистой листвой, с узорной тяжелой тенью, реку, отливающую плавким золотом, на небо цвета холодного пепла, на привязанный невидимой бечевкой к холму отгрызок белесого облака, на птиц, иногда пролетающих в жидком мареве, на припудренные пылью травы, на поникшие головками желтые цветы среди выгоревшего выгона, на белую кашку, на груды сушняка. Липучий жар выдавливал пот из всего живого и неживого. А когда подступаешь близко-близко к горнилу печи, чтобы швырнуть туда ворох веток,— это сушая смерть. Сверху — солнце, сбоку — пламя. Черные угольки глаз Мустафы. Оскаленные в улыбке белоснежные зубы. Лоб, скулы, подбородок мальчика опалает пламя, окрашивает в свой цвет. А рубаха мокра, хоть выжимай.

На юге, там, где плещется в дальней дали Средиземное море, стали кучиться облака. Значит, вскоре повеет влажный, прохладный морской ветерок. Скоро он оботрет влажным полотенцем пропеченные на солнце человеческие тела.

Первый порыв колыхнул пыль на проселке. Мустафа дрожал от усталости и холода. А Джумали развалился в тени смоковницы, знай себе сигаркой попыкивает. Наконец он с ленцой приподнялся. Вроде бы нехотя бросил:

— Поди отдохни.

Мустафа бросил в топку последнее корневище.

День, примостившийся на вершинах тополей, неспешно слез оттуда. Лесок стоял как сплошная темная завеса.

— Иди, парень, поедим,— пригласил Джумали.

Они развязали узелок, который прислал им Хасан-бей. Сыр, зеленый лук, тонкие пласты чурека. Ели молча. Мустафа спустился к реке, зачерпнул полный кувшин теплой, как кровь, воды. Поев, долго, долго пили. Джумали тыльной стороной ладони прошелся по вислым усам. Мустафа тотчас встал, принялся за работу, а Джумали враскачку потопал к реке. Вернулся, едва передвигая ноги.

— Мустафа,— сказал,— я вздремну чуток. Устанешь — разбуди меня.

— Хорошо, дяденька.

Было уже за полночь. Месяц повалился за тополя и оттуда тускло-золоченым хлебным ломтем светится.

Жар от печи озаряет лицо Мустафы — тощие скулы, обтянутые обожженной кожей. На ней — светлые капельки пота. В печной утробе беленятся, враждуют, сцепляются не на жизнь, а на смерть пламена. Справа набегает огромная огненная волна, от задней стенки ей навстречу другая такая же огромная волна катится. В середине они сталкиваются, сцепляются, сплавляются. И, слившись, обе выбрасываются в ночь. Ночь их безжалостно кромсает, коверкает, и они, отчаянно сверкнув, угасают.

У Мустафы гудит в ушах, он устал от свиста, воя, стопа, греска, плача, крика, вопля. Там, в печной утробе, рыдают истязаемые дети.

— Вот! — шепчет мальчик. — И ветки плачут.

Послышался голос Джумали. Он что-то сонно пробормогал.

— Что вы сказали, дяденька Джумали? — спросил мальчик.

Джумали повторил:

— Устал, малец? Может, подсобить?

Словно ледяной волной страха окатило с головы до ног Мустафу. Здрожал, бедный. Схватил чуть не вдвое больше обычного охапку хвороста, разом сунул ее в печь.

— Что вы, дяденька! Разве я могу устать? Вы спите, спите.

Джумали не отвечал ни слова.

Мустафа устал, изжарился, употел! Хорошо, догадался, что можно к топке не приближаться вплотную, а хвост забрасывать в огненную пасть длинной рогатиной — иначе б стал совсем как пьяный. Приволочет охапку хвороста и сбросит на землю у самого горнила. Затем рогатиной зашвыривает внутрь. Стоит приблизиться к печи хоть на шаг, его обдаёт таким жаром, что нет мочи терпеть. Тогда он бежит на бугорок, подставляет обожженную грудь прохладному ветру.

Потоки воздуха тяжелые, как вода, удушающие.

Вдали за холмом широкой сверкающей лентой тянется лунный свет. Мальчишка почти в беспамятстве, нет у него уже сил бежать на бугорок. Лохмотьями повисли старенькие штанишки, рубашку сам не помнит, когда сорвал с себя.

На рассвете запела какая-то птица. Сама махонькая, а голос протяжный и резкий. Джумали опять проснулся.

— Устал, парень?— спрашивает.

— Нет, дяденька, ни капельки не устал.

Едва выговорил эти слова, дыхание прервалось. Вот-вот задохнется. В голосе — невыплаканные слезы. И тогда Джумали, потягиваясь, встал, глаза протер. Потом долго мочился за кустом.

Мустафа стиснул зубы. Его качало из стороны в сторону. Обхватил дрожащими руками очередную охапку хвороста, дотащил до печи, бросил.

— Иди ложись,— сказал Джумали.

Мустафа еще спал, когда пришел Хасан-бей. Спросил:

— Ну как мальчишка работает?

— Спит вот,— поджав губы, процедил Джумали.— Что с такого возьмешь — молоко на губах не обсохло.

— Ну, ну, ты уж заправляй делом как надо. Потом рассчитаемся,— сказал хозяин и удалился.

В полдень проснулся мальчик. Зной опять залил округу. Упершись руками в землю, с трудом поднялся. Как раскаленное железо — земля. Хотел потянуться — ничего не вышло,

так ломило все кости. Каждая частица тела была пропитана болью. Зверски устал. Но заставил себя собрать все силы, бодро вскочил на ноги.

— Джумали-амджа, не сердитесь, я проспал.

Чуть ли не с яростью набросился на кучу хвороста, стал охапками зашвыривать в топку. Ветки корчились в пламени, пели, как птицы. Горький, влажный, удушливый запах заполнял все вокруг.

— Я ведь предупреждал тебя, что не сможешь без сна,— бросил Джумали.

Мальчик сделал вид, что не слышит. Окончательно пришел в себя, лишь немного поработав.

— Ну вот,— сказал.— Первый день и миновал.

Представил себе два огромных, жарких, липких, адских два дня впереди. Представил душные ночи. И испугался. Целых два дня! И две ночи в придачу. Хлопковое волокно не так уж и бело. Не иначе как отбеливают его химикатами. Не может быть, чтобы без них. Под вечер — проселок у холма Сулейман, поблизости речка Саврун. На мосту веселые, пухлые девушки со смуглыми ногами. Воды в Саврун-реке светлые-светлые. Видно рыб, плывущих вверх по течению. Камешки на дне в солнечных бликах. Хочешь, можешь их пересчитать.

А Мустафа все работает и работает. Смертельно устал — сжал зубы. Вкалывает. Джумали развалился неуклюже в тени, дрыхнет, свинья. Глаза приоткрыл.

— Устал, парень?

Мальчик, обугленный немилосердным зноем, голову пригнул, едва губами шевелит в ответ.

Нынешний вечер — последний. Месяц серебрится над полями. Ноги подламываются. Осталась всего одна ночь. Одиночная.

Джумали обычным своим суровым тоном:

— Что ты там мельтешишь? Иди сюда.

— Пришел, дяденька, вот я пришел.

— Разбудишь меня, когда устанешь.

Нельзя огню затихать. Тогда кирпич не испечется. Вся работа насмарку пойдет. Ни на миг нельзя печь без хвороста

оставлять. Такое сильное должно быть пламя, чтобы языки огня наружу из топки выбивались и ночь озаряли багряным светом.

Руки не слушаются. Как он ненавидел эти длинные хищные языки огня, что высовываются из злобной пасти! Совсем не оставалось сил, чтобы отойти подальше от печи, где воздух не так сух и зноен, чтобы добежать до бугорка. Теперь он вот что делает. Притащит охапку хвороста, покидает ее в печь и валится прямо на землю, тут же, у самой топки. Ночная земля — мягкая. Стоит лечь, уже не встанешь. Голова свешивается на грудь. Дремота наваливается. И тогда Мустафа собирает остаток сил, опять кидается на печь. Языки пламени обнимают его, колышутся, переливаются от алого к желтому, бледнеют. Огненные языки над головой мальчика лижут темноту, скользят, невесомые, летят. Еще одно усилие, еще одно. Скосил глаза на восток. Не видать еще светлой кромки над горизонтом. Обернулся к Джумали.

— Вай,— слабо позвал,— вай, Джумали, чтоб тебе!.. Джумали!..

Швырнул охапку в пламя. Грудь, руки — в ссадинах, глубоких царапинах, горят, болят. Кровь только выступит — и сразу же засыхает. А светлой кромки на востоке все нет и нет. Черным пологом колышутся тополя, бугорок, языки огня, хворост, печь, по эту сторону зари — холм, храпящий Джумали. Все перемешалось. Кружится земля. Укачало парня, мутит его.

— Джумали-и-и! Джумали-и-и-амджа!

Вскоре мастер проснулся, потянулся со вкусом. Не поворачиваясь к мальчику, привычно кричит:

— Устал, Мустафа?

Ответа не последовало. Повторил вопрос. Тишина. Тогда сердито поднялся. Глянул, а печь зияет черной пастью. Побелел весь, затрясся. На бегу что есть мочи пнул мальчишку ногой:

— Ах ты паршивец, недоносок окаянный! Загубил меня, нечестивец! Теперь мне платить придется за все.

Заглянул в печную утробу — немного от сердца отлегло: не совсем огонь погас, хилые язычки пламени еще лижут стенки.

Мустафа очнулся лишь на заре. Вытаращенными со страху

глазами огляделся. Видит: Джумали, в распахнутой на волосатой груди рубашке, взмокший от пота, безостановочно швыряет одну за другой охапки хвороста в печь. Испуг взял мальчика. Робко позвал с места:

— Джумали-амджа! Джумали-амджа!

Мастер бросил злобный взгляд на Мустафу.

— Катись отсюда, чтоб тебя наказал Аллах! Дрыхнуть иди куда хочешь, хоть в адово пекло.

— Дя-я-я-яденька! — Не выкрик — скорее стон.

Пока солнце не вкатилось на привычное место — на вершину дальнего холма, Мустафа все сидел и сидел, выставив голову вперед, словно его за шею привязали. Не шелохнулся ни разу. Но вот солнце оторвалось от вершины холма, стало медленно взбираться выше по небосклону. Разморило паренька, голову уронил на грудь, уснул.

Печь для обжига кирпича широкая, большая. Почти все печи похожи на вывернутый наружу колодец. Верхушка сделана куполом и землей сверху присыпана. Когда печь горит, кирпичи сперва свинцового цвета становятся. На второй день делаются черными и до утра третьего дня такими остаются. И вдруг пунцоветь начинают.

Только что за полдень перевалило, когда Мустафа в страхе проснулся. Хотел вскочить на ноги — не смог. С трудом приподняв тяжелые веки, глянул на печь. Хасан-бей уже пришел. С трудом поплелся к нему. Обогнув печь, заглянул внутрь. Кирпичи были как хрусталь. Как алый хрусталь. Мальчик будто зачарованный смотрел на это чудо, не до Хасан-бея ему было.

Хозяин приблизился к мальчику, перехватил его восторженный взгляд и улыбнулся:

— Мустафа, разве мы тебя сюда послали, чтобы ты спал?

— Ой, да я ведь каждую ночь..

Джумали грозно поглядел на мальчика.

Было жарко. В печной утробе клокотало удесятенное полуденное пекло. Специальной заслонкой прикрыли зияющую пасть.

Мустафа побежал к речке. От воды шел нежный, ласкающий свет. Мальчик неспешно вошел в воду, провел руками по

избитому, в глубоких ссадинах телу. Вышел на берег освеженный, легкий. Домой бежал, как на крыльях несся. Еще издали закричал:

— Мама! Мама-а-а-а!

Мать выскочила ему навстречу. При виде своего мальчика не смогла удержаться, запричитала. Хлопает себя по коленям и все твердит:

— О-о-ой, мой малыш! Мой маленький! На кого ты стал похож!

Мустафа замер. Шагу не мог больше сделать, словно кровь в нем застыла. Лицо высушенное, ободранное. Глаза ввалились.

— Мой малыш! Что они с тобой сделали?!

Обняла и увела в дом.

Наутро сын, еще теплый со сна, прильнул к матери.

— Белые брюки, мам.

— Пропади они пропадом,— отозвалась она.

— Разве мне не к лицу будет такая одежда?

Молча обняла сына мать, поцеловала.

Потом Мустафа отправился к Хаджи Мехмеду, присмотрел белые туфли на резине, белые носки. Потом — к Вайысу-уста.

— Мустафа,— сказал мастер,— я сошью тебе самые красивые брюки.

Лишь после этого Мустафа пошел в сапожную мастерскую. Хозяин, видимо, рано принялся за дело, шил, порол, стучал молотком. Брови у сапожника бахромой нависают над темными глазами, длинноволосый он, сутулый. Мастерская — пыльная, полуразвалившаяся, вся затянута мохнатой паутиной, пропитана запахом кожи и сыромяти.

— Хозяин,— сказал мальчик,— Вайысу-уста обещал мне пошить самые красивые брюки...

— Раз обещал, значит, сделает. Он хороший человек.

Прошло три дня, четыре, неделя. Хасан-бей не дает о себе знать. Вроде бы и не помнит о Мустафе. Однажды Хасан-бей проходил мимо мастерской.

— Когда ж ты расплатишься с нашим мальчиком, а?— окликнул его сапожник.

Хасан-бей приостановился, задумался. Покачал головой и говорит:

— Расплачусь.

Вытащил из кармана бумажную лиру, две монеты по двадцать пять курушей и положил на стол.

Сапожник посмотрел, посмотрел на деньги и говорит:

— Это, Хасан-бей, за один день работы, а мальчик работал три дня.

— Он все время спал, каждую ночь спал. Я отдал его долю Джумали. А то, что сейчас даю, так это только ради нашей с тобой дружбы. Вот так.

Сказал и ушел.

— Неправда, я каждую ночь...— недоговорил Мустафа, слезы помешали. Уронил голову на грудь.

Долго, долго молчали мастер и подмастерье. Наконец старший нарушил тишину:

— Послушай, Мустафа, ты хорошо преуспел в нашем деле. Замечательно подошвы тачаешь. Отныне я буду тебе платить лиру в неделю.

Мальчик с недоверием поднял голову. В мокрых глазах появилось сияние. Он широко улыбнулся. И сапожник ответил улыбкой.

«Сегодня десятое июля,— подумал Мустафа.— Одна неделя, две недели, три недели — и все».

— Вот, возьми, отнеси Вайысу-уста,— сказал мастер.— И передай от меня поклон. Пусть выберет тебе лучшую материю. Сдачу пусть тебе отдаст, купишь на нее ботинки. А эти полторы лиры я забираю себе. Значит, мы мне остаешься должен три с половиной лиры — три с половиной недели работы. Понял?

По голубому полю, высунув язык, несется волк. Такой рисунок был в те времена на пятилировых бумажках...

## Настоящие саркисовские

Взмахивая веселыми узорчатыми хвостами, удоды взлетают над проселком, куда-то уносятся, а немного погода возвращается. Хаджы боком сидит на ишаке. Пекло нестерпимое, но кепка натянута у него по самые уши. Ишачок иноходью трусит — дыг-дыг, дыг-дыг. Под копытцами взлетают облачка пыли — мягкой, горячей, как пепел в очаге. До чего ж славно ишак идет — дыг-дыг, дыг-дыг. Сидишь спокойно, удобно, как на пуховике. А он себе идет не хуже любой лошади. Да и чем хороша лошадь? Елозишь у ней на хребтине, пока задницу не натрешь докрасна. Неплохо ездить и на верблюде. Совсем даже неплохо, слезать не хочется. И все же, если спросить Хаджы, он так прямо и скажет: нет на свете ничего лучше серого ишака. Не нужна никакая постель в шелку да в пуху. Только бы сидеть себе верхом на сереньком да плыть сквозь желтое знойное море прямо в поле. Плыть, плыть, плыть.

Ослик явно форсит: два-три раза проходит мимо батрака с мотыгой, потом останавливается, задирает голову, хвост торчком, и долго-долго кричит. Потом столь же долго мочится. Ноги у Хаджы длинные. Когда сидит верхом на своем ишаке, ноги волочатся по земле. Приходится подтягивать их вверх, но и так они всегда на два пальца не достигают земли. И сейчас, когда ишак мочится, ноги у Хаджы совсем намокли. Батраки отвлеклись от работы, пересмеиваются. А Хаджы сквозь стиснутые зубы бранится: «Сучьи дети!» Батраки, уже не скрываясь, хохочут. Взгляд Хаджы падает на Чернявую Айше.

— А, это ты, мерзавка, натравливаешь на меня народ! Вот погоди, поквитаюсь я с тобой. Завалю на землю — узнаешь что почему! — цедит он, наступая на нее.

Айше мотыгу вскинула:

— Кыш, сукин сын!

Громче прежнего смеются крестьяне. Но уже не над Хаджы. «Хорошая баба, Чернявая Айше,— думает он.— Понимает шутки!»

— Что ты за человек, Айше!— говорит вслух.— Ничего-то не боишься. Самого Аллаха не боишься.

Женщина начинает сердиться:

— Чего это мне, молодой, бояться Аллаха? Ты, старый хрыч, рогоносец, должен его бояться. Видать, совсем не годен стал для мужских дел. Утащит тебя Аллах — жена себе молодого заведет.

Перепалка продолжается с добрых полчаса. Вдруг Хаджы становится серьезным. Теперь уж и крестьянам даже ножом не разомкнешь рта.

Задул пополуденный ветер, все забывают о Хаджы. Кто-то завел песню, остальные ее подхватили. Серый ишак тоже начинает кричать, наострив уши.

Ох, какой это был день! Знойный — сил нет терпеть. Хаджы явился в поле злющий, совсем заездил батраков. За все пятнадцать лет, что он за старшого, не видали его никогда таким. Ясно, получил нагоняй от хозяина.

Чуть поодаль от группы батраков остановился зеленщик со своим навьюченным ишаком. Весь свежий, румяный, сразу видно: из Даренде родом. А как важно держится, сукин сын!

— Недотепы!— разоряется тем временем Хаджы.— Вон сколько травы оставляете! Вместо сорняков хлопчатник тяпаете. А хозяин мной недоволен, чихвостит почем зря. Но вам-то что? Не вы — Хаджы плохой. Вам лишь бы перекуры устраивать!

Старшой кричит, крестьяне, повесив головы, безмолвно слушают. Вдруг ишак Хаджы как заревет, за ним следом — ишак зеленщика. Ослы надрывно вопят, крестьяне хохочут. Хаджы ошалел. Лицо побагровело, честит всех подряд, да только без толку. Туда кинется, сюда, сам не знает, что делать. Не нашел ничего лучше, как злость сорвать на собственном ишаке. Колотит его почем зря, словно и не божья тварь это. А крестьяне вдвое против прежнего развеселились.

Тут уж Хаджи набросился на них:

— Увидите, Аллах покарает всех вас, нечестивцев! И тебя первую, Чернявая, шлюха ты этакая!

Вены у него вздулись на багровой шее.

— Эй ты,— огрызнулась Айше,— над тобой даже ишаки смеются.

— Это ты, гадина, батраков накручиваешь. Подговариваешь раньше положенного перекур устраивать.

Чернявая Айше выпрямилась:

— У надсмотрщика часы должны быть!

— Должны быть!

— А нам откуда время знать?

— Да, откуда?

Оказалось, что Хаджи сам же и виноват.

Дарендеец слушает перепалку из-за часов, а у самого вдруг глазки так и засверкали. Рука сама собою потянулась в карман, где лежали огромные часы. Они, пожалуй, уж добрых три года как не работали. Три года дарендеец искал простофилю, которому можно было бы сбыть это барахло. Если их как следует тряхнуть, они заработают, минут пять походят, потом опять замрут, как мельница без воды. Встряхнув часы рукой в кармане, он вытащил их и на ладони протянул ближайшему батраку.

— Вот, пожалуйста,— говорит,— есть у меня часы на продажу. Еще моего отца подарок.

— Эй, поглядите! У дарендейца часы на продажу!

— Часы на продажу!

— Часы!

Хаджи тотчас унюхал, в чем дело, подкатился к торговцу, потянулся за диковиной. Ишь ты, тяжеленные. А Хаджи уже давно слышал, будто часы, чем тяжелей, тем ценнее. Присмотрелся. Лежат себе на ладони, величиной с небольшую черепашку. К уху приложил. Внутри громко тикает. У Хаджи в голове пронеслось: «Понимать время по часам научусь у деревенского писаря. Невелика премудрость, дня за два осилю. Писарь в этом деле дока».

Дарендеец вдруг выхватил у него из рук часы, изо всех сил потряс в воздухе, вернул.

— Видишь, как работают? Не часы — мотор! Ну-ка приложи к уху. Как следует приложи. Думаешь, есть вторые такие во всей Турции? Хай, хозяин, хай! Удивляюсь на тебя. Это память об отце. В мыслях не держал продавать такие часы, если бы не нужда в деньгах. Где их тут раздобудешь, в чужой стороне-то. И за миллион не продал бы. Вот.

Он снова потряс часы. Изо всех сил трясет, а сам приговаривает:

— Смотрите, народ! Видели где-нибудь такие часы? Работают как мотор. Совсем как «Оливер Килитрак». Послушайте только, как стучат. А на вес какие тяжелые!

По очереди каждому из поденщиков дал послушать часы.

— Ей-богу,— в один голос сказали крестьяне,— не видели таких часов.

— Не часы — мотор.

— Настоящий мотор.

— Настоящий.

— А громко-то как!

Дарендеец изо всех сил потряс часы, протянул Хаджы.

— Часы что надо,— степенно сказал Хаджы.— Сколько за них просишь?

Дарендеец:

— Не часы — мотор.

Хаджы:

— Какая цена?

Дарендеец:

— Подарок отца.

Хаджы:

— И все-таки не лошадь же, не верблюд.

Дарендеец:

— Серый ишак — подходящая цена.

Хаджы:

— Нет, по мне, так ишак дороже лошади и верблюда.

Чернявая Айше:

— И дороже жены. Для этого нечестивца главное — деньги.

Дарендеец выхватил часы у Хаджы, с силой потряс:

— Подарок отца.

Мгновенно созрело решение у Хаджы. Взял обратно часы у дарендейца.

— Ну, по рукам! Будем считать, серый ишак — твой, часы — мои.

Дарендеец:

— Да принесет тебе удачу эта покупка!— Схватил часы, потряс:— Совсем как мотор.

Вскочил верхом на ишака, в мгновение ока скрылся за ближайшим холмом. А Хаджы вне себя от радости. Вертит в руках свое приобретение, и так и этак разглядывает, к уху подносит. Потом вспомнил присказку: «От радости, что ребенок родился, не оторви ему ноги». Спрятал часы в карман и важно так поденщикам:

— Это что! Бывали у меня и получше. Тоже работали как мотор. Украли их только. М-да...

— Пусть покупка принесет тебе удачу,— сказали батраки,— носи на здоровье. Теперь мы сможем вовремя перерыв устраивать, вовремя к работе приступать.

— То-то же,— отозвался Хаджы.

Вдруг он ощутил, что ему не хватает чего-то привычного. Обшарил карманы, все вроде на месте, потом вспомнил: нет больше серого ишака. Сердце оборвалось в груди. Ушел серый красавец! Не воротишь. Руку в карман сунул, утешил себя: «Зато часы, как мотор». Поборол искушение вытащить часы, полюбоваться ими. «От радости, что ребенок родился...»

Он подошел к батракам.

— Эх, вот раньше у меня были часы!— сказал.— Ну да ничего, эти тоже сойдут. Как мотор работают.

Вдруг его осенило: неспешно извлек часы из кармана, долго всматривался в них, потом как гаркнет:

— Ну-ка живей! Давно пора за работу. Уже час прошел. Живо, живо!

Поденщики хорошо отдохнули, поэтому с охотой откликнулись:

— Вот это другое дело, по часам-то. Пусть этот дарендеец не ведает горя!

Хаджы поднес часы к правому уху. Сердце вмиг биться пе-

рестало, кровь в жилах застыла. Помертвел. К левому уху поднес. Опять к правому. Некоторое время часы, словно челнок, от одного уха к другому сновали, Хаджы обессиленно уронил руки. Батраки видят, что-то не то со старшим, участливо спрашивают:

— Что приключилось, Хаджы?

Пришлось взять себя в руки. Попробуй только скажи — засмеют!

— Ничего,— выдавил из себя.

А в голове одна мысль стучит: «Ишак-то мой стоил серебряной цепочки». Вскоре, однако, Хаджы успокоил себя: «Когда он мне продал часы, они, как мотор, стучали. Но я, темный человек, никогда часов в руках не держал, вот и испортил тонкую вещь. Стыд-то какой! Взял и испортил часы, которые работали, как трактор. Завтра, не откладывая, поеду в касаба, починю».

Всю ночь глаз не сомкнул. Ел себя поедом: «Разве такую прекрасную вещь можно доверять неучу? Э-э-э-эх, какие часы были, какие часы! Тарахтели, как «Оливер Килитрак» в пятьдесят лошадиных сил. А я, только в руки взял, сразу испортил».

Часовой мастер оказался немолодым, суровым, глаза недобро смотрят из-под нависших бахромчатых бровей.

— Вот,— выдавил из себя Хаджы.— Только вчера отдал ишака. И какого ишака! Лучше любого коня! Когда купил, работали, как мотор. Только в руки взял — испортились.

Часовщик надел на глаз лупу. Открыл крышку. Заглянул внутрь — и вдруг накинудся на Хаджы:

— Ты что, смеешься надо мной, прохвост?! Здесь половины деталей не хватает! Отдал, говоришь, доброго ишака?

Хаджы чуть не плачет:

— Да, серого своего отдал, чудесного ишака — что твоя лошадь. О-о-о-отдал!

Часовщик швырнул часы на стойку:

— некогда мне с тобой язык чесать. Иди, откуда пришел!

Хаджы собственным ушам не верит. Потопал к другому часовому мастеру. Тот был полкубезней, но слово в слово подтвердил: часы ремонту не подлежат. По пути домой, окончательно потеряв надежду, Хаджы не переставал себя грызть: «Когда

этот парень из Даренде продавал мне часы, они стучали не тише, чем «Оливер» в пятьдесят лошадиных сил. Если бы и впрямь не хватало половины деталей, разве работали бы они так? Никогда. Оба часовщика ничего не смыслят в своем деле. Я тоже хорош! Таковую вещь взял в руки — и поломал. Ну, ничего, мы еще посмотрим...»

Одноглазый фотограф Мемед Али тоже кое-что смыслил в часах, порой брался за мелкий ремонт. Хаджы вспомнил о нем уже в пути. Пришлось вернуться. Весь в пыли, в поту ввалился к фотографу, ни слова не говоря, протянул ему свое сокровище. Мемед Али внимательно осмотрел часы.

— Я отдал за них ишака. Как может быть, чтобы они не работали?

Мемед Али ушел с часами в глубь мастерской, потряс их хорошенько. Часы громко затикали.

— Почему, говоришь, не работают? Прекрасно работают! Совсем новенькие часы.

Хаджы поднес их к уху, возликовал.

— Вот именно! Как они могут не работать, если я отдал за них своего серого ишака?

Мемед Али:

— Настоящие саркисовские. Хоть об каменьхвати, ничего не будет. Вот какие крепкие!

Хаджы на радостях всучил одноглазому пятерку. Уже вечерело, чуть не бегом кинулся домой. Приближаясь к деревенской околице, Хаджы вытащил часы, погладил. Укрепил их на серебряной цепочке на груди. Красиво получилось. Пусть лопнут враги от зависти. Пусть лопнет Молла Вели. Пусть лопнет, рогоносец! Работают, как мотор в пятьдесят лошадиных сил. Хаджы сладострастно ласкал часы, потом нежно поднес к уху. Ноги к земле приросли. Часы челноком засновали от уха к уху. Снова не работают! Выдавил из себя сквозь зубы:

— Что я за человек! Только в руки беру вещь — тотчас ломаю.

Крестьяне в селе приговаривали:

— Счастливый человек наш Хаджы. Выменял часы на ишака. И какие часы! Настоящие саркисовские!

Хаджы отвечал:

— Работают, как мотор в пятьдесят лошадиных сил. Такие часы не одного — десяти ишаков стоят. Бедняге деньги нужны были позарез, поэтому и уступил за бесценнок. Ведь память об отце. Разве с такими часами расстанутся? Надо бы доплатить ему десяточку. А то неудобно как-то получается.

— Ничего, — утешали крестьяне. — Появится опять, тогда и доплатишь. Не знал он, наверное, что продешевил. Разве настоящие саркисовские отдают за ишака?

Хаджы кипятился:

— Еще бы не продешевил! Память об отце продал. Совсем обнищал, видать, бедняга.

Часы все время показывали одиннадцать. Единственным обладателем часов в деревне был Хаджы. Имам справлялся у него, который час. Батраки, пахари, благочестивые люди, творящие намаз, — у него. Всякий раз, прежде чем ответить, Хаджы горделиво вытаскивает часы, сперва подносит к уху, вслушивается. Потом близко-близко к глазам подносит и, если пополудни, говорит: «Три часа», если вечер: «Шесть», в полдень: «Одиннадцать». Иногда уточняет: «Без десяти двенадцать». При этом пристально заглядывает в глаза тому, кто о времени спрашивает, и бог весть в который раз повторяет:

— Какие часы, брат! Какие часы! Пусть радуются на том свете отец и мать дарендейца. Настоящие саркисовские. Ни на минуту не отстают. Работают, как мотор в пятьдесят лошадиных сил. Единственные часы на всю деревню. Доведется повстречать дарендейца, непременно дам ему десятку. Человек в нужде был, потому и продал. Грех, стало быть, не добавить ему.

Поденщики тоже были весьма довольны часами. Приближается, допустим, полдень, они спрашивают:

— Долго еще до двенадцати, Хаджы?

Хаджы покрутит-повертит часы, как черепашку. Поднесет к уху, правой рукой погладит и сначала, как привык, вознесет хвалу Аллаху и дарендейцу, потом отвечает, бросив косой взгляд на солнце: «Пять минут осталось». В другой раз скажет: «Десять» или: «Пятнадцать». Случается, «Двадцать» говорит. И, не

дожидаясь положенного срока, в свисток свистит: пора, мол, на перекур.

В один из дней случилось так, что Хаджы по рассеянности поднял поденщиков раньше положенного времени, ни много ни мало — на три четверти часа урезал обеденный перерыв. Не рассчитал время, видать. Из-за этого целый скандал вышел. Поденщики встали на дыбы, не желают начинать работу, и все там. Хаджы вопит:

— Я ваших прав не ущемляю. Что ваше, то ваше. Вот часы. Не какие-нибудь вшивые-паршивые — настоящие саркисовские! — А сам размахивает своим будильником, к уху подносит: — Как мотор работают. Без пяти двенадцать отпустил вас на перерыв, а сейчас пять минут второго. Десять лишних минут отсидели. Пора и честь знать!

Кричит Хаджы, все часами размахивает. Тут он их к уху подносит. О, Аллах, часы стучат! Беднягу едва удар не хватил. Не своим голосом закричал:

— Подойдите, подойдите! Послушайте, как стучат. Совсем как «Килитрак».

Сколько было в поле поденщиков, каждому дал послушать.

— Ну, что теперь скажете?

Поденщики:

— Испорченные у тебя часы. Мы тоже не дураки, знаем, сколько времени отдыхали.

— Да-да, испорченные.

Что стало тут с Хаджы! Орал и на людей кидался, как бесноватый. Никто никогда еще не видал его в таком гневе. Удивились крестьяне, решили — спятил Хаджы. А тот размахивает, трясет часами над головой:

— Кто говорит, что они испорченные?! Не смейте ни бельмеса в настоящих саркисовских часах! Как мотор работают. На ваших глазах, олухи, ишака отдал за них. Ради вас купил, чтобы ваши интересы блюсти!

Поденщики притихли.

— Не сердчай, Хаджы.

С того дня Хаджы не давал повода усомниться в исправности своих часов. Ежели на перерыв положен час, так он полтора

часа отпускаял. Крестьяне блаженствовали:

— Вот это часы! Вторых таких во всей Чукурове нет! Ни на минуту не отстают. Раньше мы вместо часа и половину не отдыхали, а теперь... пожалуйста. Пусть этот дарендеец, который продал часы нашему Хаджы, век горя не знает. Иншаллах!

Сам Хаджы важничает:

— Доведется мне встретить дарендейца, непременно десятку ему добавлю. Нечестно это — за ишака такие часы получить. Видать, в большой нужде был человек.

Поденщики:

— Твоя правда, Хаджы, надо добавить. Не бери грех на душу.

Короче говоря, до самого последнего дня сверкала серебряная цепочка с часами на груди у Хаджы. До самого последнего дня любому, кто справлялся о времени, Хаджы охотно отвечал.

Но как только отошел бедняга, уж где только не искали эти самые настоящие саркисовские: и в карманах, и под кушаком, и в сундуке, — нигде не нашли. Как в воду канули.

## Чакыр\*

Не первый год мы с ним приятели. Здесь у нас в Менекше, в районе Флорьи, все его знают и любят. Не было случая, чтоб он кого-нибудь обидел. Как его настоящее имя, откуда он родом — никто этого не знает. У него не совсем в порядке с речью — глотает букву «р», как маленький, и фразы складывает незатейливые, короткие. Только взглянешь на него, и сразу ясно: такой и муравья не обидит. Для всех он просто Чакыр. Вот я, к примеру, давно с ним дружу, но тоже имени настоящего не знаю. Чакыр да Чакыр... И как-то так получалось, что я ни разу не мог спросить его, из каких мест он родом. Что-то есть в нем такое, что мешает задавать лишние вопросы.

Чакыр не из болтунов. Все наши ребята-рыбаки — зубоскалы, задиры, драчуны, но только не в его присутствии. Не то чтобы боялись его или недолюбливали. Напротив. А вот поди ж ты, не удаются шуточки да подначки, когда Чакыр рядом. Чистюля он какой-то, святоша.

Вот я с чего начал? С того, что мы с ним давние приятели. А ведь, коли призадуматься, неточно я выразился. У меня, если хотите знать, во всем мире едва человек пять найдется, к которым я был бы по-настоящему привязан. Один из них — Чакыр. А почему? Бог знает. Уж во всяком случае, не потому, что мы часто с ним встречаемся и болтаем о том о сем. Может, характерами сходимся? Или общие мысли имеем? Эх, кабы я мог с уверенностью сказать, о чем думает Чакыр! Да и кто об этом знает? Так отчего ж я так сильно привязался к этому человеку? Спросите об этом у Чакры, так он тоже не сможет ответить. Наверняка начнет бормотать что-то вроде: «А, это вы

\* Чакыр — прозвище (дословно серо-голубой).

о нем спрашиваете?.. Да-а-а, мы с ним друзья». И поспешит отойти в сторонку.

Не упомяну случая, чтобы он попросил меня о чем-нибудь. А вздумай я сделать ему подарок — не возьмет. Хоть расшибись, не возьмет. «Я,— говорит,— ни в подарок, ни в долг брать у тебя ничего не могу. И не хочу. Ты мне друг. Может, я чудак, но не хочу, чтобы на нашу дружбу пала тень». Вот так-то... Бывало, я из кожи вон лезу, чтобы уломать его. «У врага стыдно брать,— говорю,— но друга нельзя обижать отказом». А он знай лишь посмеивается. Красивый у него смех. Он словно бы молодеет, когда смеется. Кстати, сколько ему лет? Понятия не имею. Даже приблизительно сказать трудно. То он выглядит за сорок, то и тридцати не дашь. День на день не приходится. А спросишь напрямую, так он замолчит, призадумается, а то и вовсе отойдет в сторону и долго слоняется по берегу моря, погруженный в невеселые думы.

Как-то раз он пришел ко мне, веселый, сияющий, словно отыскал давно потерянную вещь. Покосился на меня с лукавством и гордостью. Никогда прежде не видел я такого выражения у него на лице. «Свершилось!»— вдруг выпалил он. Но в тот же миг, очевидно, раскаялся, поник, слинял как-то. Потом торопливо добавил: «Разве на земле нет людей, кроме друзей и врагов? И я веду с ними дела...»

Нет, он неисправим! Мучается, ищет, страдает и наконец вроде бы прозревает: есть на земле не только друзья и враги. Мог ли я после этого еще настаивать на чем-то?

Волосы у Чакры рыжие, густые, блестящие, плечи — широченные, сильные. Поступь у него тяжелая, могучая, будто не человек, а каменный монумент шагает. Частенько у его губ пролегает горестная складка, даже когда он смеется. А в выпуклых карих глазах то и дело вспыхивает ярко-зеленая искорка. Брюки, рубашка, пиджак болтаются на нем, как на вешалке. Но как ни странно, это лишь красит его.

Чакыр излучает аромат чистого, безбрежного, сверкающего моря. Так пахнут водоросли — солью, йодом, свежей рыбой, южным ветром. Пройдет он рядом с вами в жару, и сразу пахнет на вас морской прохладой, свежим туманом. Над ним

вроде бы всегда стоят белопенистые облака. Ручищи у него тяжелые, натруженные, кулаки как кувалды.

Сидим мы с ним, бывало, на прибрежных скалах и часами молчим. Над морем вьются легкие чайки, стремительные бакланы. Порой море причудливо меняет свой цвет. То вдруг часть его заискрится, вспыхнет яростным светом, а поодаль — вода стоячая и черная, как в омуте. А потом вскипит, вздыбится черная вода и залучится красновато-сиреневым цветом. Голубые, бирюзовые полосы постепенно переливаются в зеленые и оранжевые. А то вдруг солнечный столб, как гигантским кинжалом, рассекает морскую ширь надвое. В такие минуты Чакыр не может сдерживать себя, восторженно вскрикивает: «Вот сейчас море похоже на себя!» И при этом глаза его улыбаются.

Потом мы поднимаемся и уходим. Что мы говорим друг другу прощаясь? Ей-богу, не помню. Скорее всего, ничего. Днем ли, вечером ли расставались? Тоже не помню.

Как-то раз я повстречал его, когда он только-только вернулся с рыбной ловли. Руки его по самый локоть были в рыбьей чешуе. Увидев меня, улыбнулся. Еще издали протянул огромную живую рыбину. «На, это на твое счастье! Как только вытаскил ее из воды, так сразу решил, что она — твоя». Он был беспечен, как ребенок. Сияющим взглядом смотрел то на меня, то на пойманную рыбу, то на море. В какой-то миг мне показалось, что его рука с зажатой рыбой и лицо, и плечи стали голубыми. Заходило солнце. А Чакыр продолжал на глазах покрываться голубизной. «Ну что, увидел?» Я мотнул головой. «То-то же! — засмеялся он. — Лови!» И, не доходя несколько шагов до меня, кинул рыбу. Я поймал ее. «Ешь на здоровье». «Спасибо», — смущенно пробормотал я.

Рыбаки, что сидели в лодках у него за спиной, тихонько посмеивались. За весь день ему удалось выловить одну-единственную рыбу, и он долго мучился, как отдать мне ее.

Они ведь великие хитрецы, наши рыбаки. И прозорливы как джинны. Лишь взглянут на человека и тут же прочтут, что у него на сердце. Спустя пару дней они мне сказали: «Видел бы ты, братец, в тот день Чакыра. Видел бы, как дрожали его руки, как радовался. Чуть с ума не сошел».

Ежедневно Чакры раскладывал свой улов на расписном деревянном лотке. Он любовался рыбой, как дитя, и не выкрикивал, а пел: «Рыба! Свежая рыба! По-о-о-окупай!» Он торговал во Флорье, Басынкёйе, Ешилькёйе\*. Деньги, не считая, клал в правый карман брюк. Распродав улов, пристально оглянется по сторонам, притопнет, бывало, ногой по мостовой и, запустив руку в карман с деньгами и позвякивая мелочью, торопится домой.

Мы опять сидели на скалах. Чайки с пронзительным криком носились над морем. Я впервые видел Чакры таким злым.

— Ну чего разорались, подлые твари?! Заткните свои поганые глотки! — ругался он.

Несколько раз он поворачивался в мою сторону, явно намереваясь что-то сказать. У него даже растягивались губы и вроде бы удлинялся нос. Но так и не решался ничего произнести, лишь опять обрушивал брань на ни в чем не повинных чаек, так, словно это были не птицы, а оскорбившие его люди. Его окончательно выводило из себя, что чайки никак не замечали его выпадов.

— Эй вы, подлые твари! Злюки с мерзкими голосами! Ослы, свиньи! Песьи морды! Попадите только мне в руки! Уж я поквитаться с вами! Схвачу за грязные клювы и потихоньку сверну вам шеи!

Неспроста все это было, неспроста. Я чувствовал, что ему невтерпеж поделиться со мной. Наконец не выдержал.

— Чего ты прицепился к несчастным птицам! — рассердился я. — Чем они виноваты! Мучает тебя что-то — скажи.

Он затих, потупился. А когда поднял лицо, я увидел, что щеки его порозовели, а в глазах появился неестественный блеск.

— Не обращай на меня внимания, — попросил он.

Миновало несколько дней. Чакры как будто избегал встреч со мной. Тогда я решил выследить его. Конечно, так, чтобы он меня не заметил. Оказывается, он перестал выходить в море с

\* Предместья Стамбула.

рыбаками. Он часами крутился у моста, под которым на берегу валялась старая лодка, узкая, длинная, какая-то несуразная. Краска на ней давно облупилась, доски рассохлись и почернели, фальшборт был поломан.

Стараясь не привлекать ничьего внимания, Чакыр то и дело подбегал к лодке, заглядывал под днище, ощупывал. Поймав на себе чей-нибудь взгляд, торопливо отходил в сторону, отворачивался, но вскоре опять крадучись подбирался к ней и опять ощупывал, разглядывал, что-то прикидывал. Порой он вздрагивал, бросал по сторонам испуганные взгляды, но, убедившись, что никому нет до него дела, продолжал осмотр. Самые противоречивые чувства отражались на его лице: огорчение и надежда, радость и досада.

Я наблюдал за ним из окна угловой кофейни. Он не мог видеть меня за стеклом.

Примерно с неделю Чакыр крутился вокруг старой посудыны. Нежно поглаживал потрескавшиеся борта, любовался. А потом вдруг сам отыскал меня на морском берегу, у той самой скалы, где мы прежде любили с ним сидеть. Он уже не сердился на чаек, не злобствовал и не ругался. С детски озорным простодушием неожиданно попросил:

— Можешь передать Нусрет-бею, что лодку, которую он бросил на берегу, я хочу покрасить?

— Пожалуйста, передам. Ты ведь знаешь, Чакыр, что Нусрет-бей мой старый приятель.

— Знаю, знаю,— все так же простодушно сказал Чакыр.

— И это все?— спросил я.

— А что еще?— Он призадумался. Похоже, собирался еще о чем-то попросить, но так и не решился.— Да, все,— обронил он.— Просто хочу покрасить лодку.— Он облизнул губы.— Я хорошо покрашу.

Еще солнце не взошло, как Чакыр принялся за дело, а к полудню закончил. Он покрасил лодку в небесно-голубой цвет. Отполировал нос и корму. Два дня потратил на то, чтобы по обе стороны от носа вывести белой краской слово «Голубь». Странная надпись. Ее видно было издали. А под словом «голубь» нарисовал голубку. Что это был за рисунок, я вам

передать не могу. Ничего подобного не выходило из-под кисти ни одного художника во всем мире, от древних времен до наших дней. Описать его невозможно. Это надо видеть. Видеть лодку с голубкой, распростершей крыла в луче света, стремящейся в неведомую даль неведомого океана.

С тех пор Чакрыр забросил и работу и дом. Он сутки напролет проводил возле красавицы лодки, не сводил с нее влюбленного взора. Порой отступал на шаг и, причмокнув, восхищенно восклицал: «Хороша! Эх, до чего ж хороша!»

Он приобрел нейлоновый парус, голубой с желтым. Примостили тонкую сеть, тросы. Где-то раздобыл старинный якорь. Нусрет-бей не узнал свою развалюху.

Дело было сделано, и Чакрыр опять стал искать встреч со мной. Он больше не сердился на чаек, но видно было, что его что-то гложет, что он места себе найти не может. И вдруг сказал нечто совсем неожиданное:

— Хоть бы единый разок выйти в море на этой лодке половить рыбу.

Слова у него вырвались произвольно, и, очевидно, он в тот же миг пожалел о них, прикусил губы.

— Нет, нет, не надо! Еще, чего доброго, хозяин подумает черт знает что. Я и так ему благодарен, что позволил покрасить лодку. Мне и этого достаточно.

Он поспешил прочь от меня, я кинулся следом:

— погоди, Чакрыр! Я скажу Нусрет-бею. Право же, ничего плохого в том нет, если ты разок половишь рыбу в этой лодке.

— Нет! — отрезал он. — Не говори. Он может подумать, будто я только ради этого возился с лодкой. С меня и так довольно.

Я все-таки поговорил с Нусрет-беем. Он лишь удивленно бросил:

— Чудак какой, ей-богу.

Чакрыр снаряжал лодку с такой нежностью, с таким нескрываемым счастьем, будто священнодействовал. Все жители рыбацкого квартала высыпали на берег, чтобы полюбоваться таким невиданным зрелищем. Чакрыр птицей метнулся в своего «Голубя» и в мгновение ока оказался в открытом море. Лодка

стремглав уносились вдаль и вскоре растаяла в морском сиянье.

Вернулся он после захода солнца. С головы до пят был мокрым. В голубой сети билась живая рыба. Там же, на берегу, на глазах у собравшихся он разделил рыбу на две части, одну отдал мне, другую опять завернул в сеть и опрометью бросился куда-то. Вечером Нусрет-бей пришел ко мне.

— Отменная была рыба,— сказал он.

И опять лодка стояла на берегу, а Чакрыр кругами ходил вокруг нее.

Не знаю почему, но Чакрыр никогда не приходил ко мне домой. Я едва язык не проглотил от удивления, когда в один из дней, открыв дверь на чей-то робкий стук, я вдруг узрел перед собой Чакрыра. Он стоял понурившись. Я пригласил его войти. Он согласился, но глаз так и не поднял. До самого вечера просидел на диване, упорно не желая оторвать взгляд от собственных башмаков. Вдруг резко поднялся.

— Тут вот какое дело...— выдал он из себя.— Я хочу эту лодку... Передай Нусрет-бею, что я готов ее купить. Все равно же гниет. Два года провалялась на берегу, ни разу Нусрет-бей не выходил на ней в море. Какую цену назначит — такую отдам. Все деньги от продажи рыбы буду отдавать ему. Ты знаешь, я не из тех, что могут не вернуть долг.

Рыбацкий квартал переживал великое событие. Голубая лодка, нарядная, разукрашенная, кокетливо спускалась в море. Чакрыр оделся во все новенькое: вся одежда с иголки, обувь сверкает, даже галстук повязал. Кто ж надевает белоснежную рубашку, выходя на ловлю в море? Какие-то болваны стали отпускать шуточки вслед Чакрыру. Где им было понять, что в этот великий миг осуществлялась заветнейшая его мечта, многолетняя неутолимая страсть. Может быть, он с раннего детства мечтал именно о лодке... Иначе ни за что на свете не решился бы явиться ко мне с унижительной просьбой.

Раз в три дня Чакрыр проходил мимо нашего дома с меч-рыбой, дорадами, луфарями, камбалой, барабульками, султанками. Рыба еще трепыхалась и сверкала.

С год продолжалось так. Чакрыр был счастлив. Улыбка почти не сходила с его лица, временами он даже шутил.

И вдруг все переменялось. Лодка очутилась на старом месте под мостом, а Чакыр стал избегать встреч со мной. И одежда его стала неряшлива. С удивлением я узнал, что он перестал навещать и к Нусрет-бею. В последний свой приход он так сказал ему: «Не смог я с тобой расплатиться, Нусрет-бей. Не идет почему-то рыба в сети. Не удалось мне поймать удачу за хвост. Прости, Нусрет-бей, если можешь...»

А спустя несколько дней Чакыр бесследно пропал. Я заходил к нему домой. На двери висел огромный замок. Ни его самого, ни жены, ни детей — никого не было видно.

Нусрет-бей как-то сказал мне:

— Ночью, когда шел дождь, в темноте меня кто-то два раза хватал за горло и пытался душить. Слава богу, удалось отбиться. И, знаешь, мне показалось, что руки его похожи на руки Чакрыра.

— Этого не может быть! Должно быть, ты обознался, Нусрет-бей. Он оставил свой дом и уехал из наших мест потому только, что стыдился в глаза тебе посмотреть. Если б он мог долг вернуть, разве уехал бы?

— Это точно, не уехал бы... — согласился Нусрет-бей.

Прошло еще какое-то время. Нусрет-бей и думать забыл об истории с лодкой, а если и вспоминал, то со смехом.

— До чего ж славной рыбой кормил нас Чакыр! — приговаривал он. — Ах, какая была рыба!.. Лодку он давно уже отработал, да будет она ему во благо.

Как-то поздним вечером мне передали, что меня разыскивает Нусрет-бей. Я поспешил к нему. Войдя в дом, я увидел, что перед ним лежит тысячелировая банкнота.

— У меня только что был Чакыр, — растерянно произнес он. — Ни слова не сказал, не поздоровался, даже глаз не поднял. Руки у него были разбиты в кровь, и из ушей текли струйки крови. Ноги по колена в грязи. Он так похудел, что его и узнать трудно. Пришел и протянул мне вот эту тысячелировую банкноту. И тотчас ушел. Во дворе задержался на миг. «Спасибо тебе, Нусрет-бей, — говорит. — Много добра ты мне сделал». Ну, что ты на это скажешь?

— Что я могу сказать? Только одно: больше никто не будет пытаться тебя задушить.

Нусрет-бей облегченно перевел дух:

— Вот и слава богу...

Трудно было поверить во всю эту историю. Я имею в виду нападение на Нусрет-бея. Чакры не способен задушить человека. Кто угодно, только не Чакры.

Да, вот как получилось. Трудно продолжать свой рассказ. Верь не верь, но пару дней спустя газеты сообщили, что по обвинению в грабеже задержан рыбак Чакры. Случилось это именно в тот вечер, когда он наведывался к Нусрет-бею. Должно быть, его задержали на обратном пути. Я пошел в тюрьму. Чакры отказался от свидания со мной. Я передал ему немного денег и сигареты. Больше я туда не заходил, не мог...

И вот недавно я стал замечать, что какой-то человек в темноте крутится у моего дома. При моем приближении он торопливо отбегает в сторону. Поначалу я не придал этому никакого значения. Наверное, полицейский, как всегда, что-нибудь вынюхивает и не хочет лишний раз на глаза попадаться, решил я. А тут вдруг, когда я запоздно возвращался домой, кто-то преградил мне дорогу.

— Кто это?— спросил я тихонько.

— Это я. Не узнал?— Голос был замученный, сломленный, подавленный и в то же время самую малость счастливый.— Это я. Я расплатился сполна с Нусрет-беем. Все до последнего вернул.

Слова эти прозвучали торжественным гимном. И он исчез в темноте.

Утром другого дня я увидел его у моста. Он перекрашивал «Голубя» темно-голубой краской. На носу лодки парила голубка. Увидев меня, Чакры искренне, тепло засмеялся.

— Э-гей! Привет!— крикнул я.

— Привет!— отозвался он.

Этот гордый, счастливый человек улыбался лукаво и просто-душно.

— Привет, Чакры! Э-э-э-эй, э-ге-гей, привет!

# Содержание

5	<i>Т. Меликов. Предисловие</i>
9	Легенда Горы (Повесть)
	Рассказы:
90	Белые брюки
104	Настоящие саркисовские
114	Чакыр

**ЯШАР КЕМАЛЬ**  
**ЛЕГЕНДА ГОРЫ**

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*  
Редактор *М. Ткачев*  
Обложка художника *Н. Яцука*  
Художественный редактор *Л. Филиппова*  
Технический редактор *Е. Медведева*  
Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 729

---

Сдано в набор 25.03.82. Подписано в печать 17.09.82. Формат 70 × 100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,85. Уч.-изд. л. 6,09. Тираж 50000 экз. Заказ 442. Цена 75 коп.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

---

В библиотеке журнала  
«Иностранная литература»  
в течение 1982—1983 гг.  
среди других книг  
выходят следующие:

**Якуси Иноуэ /Япония/— ТРИ НОВЕЛЛЫ**

**Леонардо Шаша /Италия/— ПАЛЕРМСКИЕ УБИЙЦЫ**

**Герман Кант /ГДР/— ОБЪЯСНИМОЕ ЧУДО**

**Вити Ихимаэра /Новая Зеландия/—  
В ПОИСКАХ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА**

**Хоакин Сантана /Куба/—  
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЛИЦЕ МАГНОЛИИ**

**Надин Гордимер /ЮАР/ — ДОМ ИНКАЛАМУ**

**Рэй Брэдбери /США/— В ДНИ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ**

**Эржебет Галгоци /Венгрия/— ВДОВА СЕЛА**

**Юхан Борген /Норвегия/ — ДЕКАБРЬСКОЕ СОЛНЦЕ**

**Джеймс Джойс /Ирландия/ — ДУБЛИНЦЫ**

**Сид Чаплин /Великобритания/ — ТОНКИЙ ШОВ**

**Армандо Роблес Годой /Перу/ —  
В СЕЛЬВЕ НЕТ ЗВЕЗД**

*Дорогие читатели!*

*Ждем ваших отзывов  
о книжном приложении  
журнала  
«Иностранная литература».*

*Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41*

**ЯШАР КЕМАЛЬ** (родился в 1922 году) — один из крупнейших современных турецких романистов и новеллистов. В раннем детстве лишился отца и должен был зарабатывать себе на пропитание. Переменил множество профессий; был батраком, составителем прошений для неграмотных крестьян. Многие годы работал журналистом. В 1952 г. опубликовал сборник рассказов "Желтое пекло", а в 1955 г. первый роман — "Тоший Мемед", переведенный на многие языки, в том числе и на русский. Впоследствии Яшар Кемаль создал такие монументальные произведения, как трилогия "Опорный столб" (1960), "Земля — железо, небо — медь" (1963), "Бессмертник" (1969) и "Преступление на Кузнечном рынке" (1974, два тома). Повесть "Легенда Горы", хотя и написана по фольклорным мотивам, затрагивает актуальные проблемы Турции.

